

*игорь волгин*



Поэтическая библиотека

Серия основана в 1993 году

Игорь  
Волгин

*Толковый  
словарь*

МОСКВА 2019



УДК 821.161.1-1  
ББК 84(2=411.2)6  
В67

Дизайн серии: *Валерий Калныньш*  
Фото: *Р. Бибнева*

**Волгин И. Л.**

В67 Толковый словарь / Игорь Леонидович Волгин. — М. : Время,  
2019. — 336 с. — (Поэтическая библиотека)

ISBN 978-5-9691-1284-1

Игорь Волгин «совмещает в своём душевном строе младенца военного времени, зачатого под бомбами и появившегося на свет в смертную пургу, — и скрупулёзного учёного-филолога, в мирное время счастливо продумавшего наследие Достоевского... Нераскаянный идеалист, неисправимый “шестидесятник” кладёт душу в попытке свести концы, спасти Смысл. “Что было — проносится мимо и тает в дали голубой. И прошлое непоправимо, о Господи, даже Тобой”» (*Лев Аннинский*).

ББК 84(2=411.2)6

ISBN: 978-5-9691-1284-1



© Игорь Волгин, 2019  
© «Время», 2019

## ОТ АВТОРА

В этой книге собраны стихи, написанные в разное время и неодинаковые по своему возможному внутреннему достоинству. Так случилось, что автор (напутствуемый П. Г. Антокольским и затем издавший несколько поэтических сборников) на долгие годы был отвлечён другой, целиком захватившей его работой. Но, как неоднократно приходилось убеждаться, поэзия не прощает измен — даже с Достоевским.

«Поздние стихи» — то, что написано сравнительно недавно.

У автора были известные сомнения — включать ли в эту книгу раздел «Из ранних тетрадей». Многие из тех давних строк (равно как и породившее их мирочувствование) могут показаться наивными и не отвечающими нынешним авторским предпочтениям. Но было бы нечестно задним числом отказываться от того, в чём — пусть несовершенно — отразился «шум времени»: с его иллюзиями, наитиями и сокровенными историческими упованиями.

Настоящее издание воспроизводит тексты из книги «Персональные данные» («Время» 2015: Премия Правительства РФ 2016 г., Международная Бунинская премия 2017 г.) с добавлением значительного количества новых стихотворений.



## ПОЗДНИЕ СТИХИ





\* \* \*

В мае, июне, июле,  
в августе и сентябре  
сырый, как юбка на стуле,  
клён зеленел во дворе.

Шёл Маяковский по Бронной,  
ажно бульжник звенел.  
...Но, как зелёнка, зелёный  
клён во дворе зеленел.

Горький развешивал флаги  
в чайни лучших времён.  
...Не помышляя о благе,  
кроной покачивал клён.

Птицы садились на темя  
и, оглядевшись вокруг,  
вдруг понимали, что время  
вовсе отбилося от рук.

За пасторальями — порно,  
и утешенье в одном:  
молча, угрюмо, упорно  
клён зеленел за окном.

Чтобы твою ли, мою ли  
жизнь осенять на заре —  
в мае, июне, июле,  
в августе и сентябре.

\* \* \*

На изломе жизни, на излёте,  
у ларька, где жмутся алкаши,  
если хочешь — думай о работе,  
хочешь — о спасении души.

Что работца — ну её в болотце:  
без неё-то дел невпроворот.  
А душа, коль есть, она спасётся,  
если только дать ей укорот.

Обозри своим блудливым оком  
этот вечно длящийся бардак.  
Постарайся мыслить о высоком,  
а о низком — мыслишь ты и так.

Гордый, как в изгнании Овидий,  
и непогрешимый, как дебил,  
вспомни лучше тех, кого обидел,  
вспомни всех, кого недолюбил.

Мой двойник, мой двоечник угрюмый,  
собутыльник, старый раздолбай,  
о стране, прошу тебя, подумай,  
задний ум со скрежетом врубай.

Человеком ныне будь и присно —  
сапиенсом, если повезёт.  
Может быть, любезная отчизна  
от тебя лишь этого и ждёт.

И она, ценя твой подвиг ратный,  
двинет по дороге столбовой.  
И простит мне стих нетолерантный,  
запоздалый, злобный, лобовой.

## ЗИМНЯЯ ВИШНЯ

Граждане, не заводите детей —  
век их недолог.  
Что в утешение матери сей  
скажет психолог?

Мальчики! Девочки! Знать, не с руки  
быть молодыми,  
если кончаются ваши деньки  
в пламени, в дыме.

Благословен, кто прижаться горазд  
к смертному лону.  
Ибо за каждого родина даст  
по миллиону.

Быть ей, наверно, всегда на плаву  
(спорт, оборонка),  
втайне свою посыпая главу  
пеплом ребёнка.

\* \* \*

*...лишь благодарность.*

*И. Бродский*

Я перевалил рубеж, приличествующий уходу поэтов,  
ибо известно — век их весьма недолог.

Очевидно, из-за множества более важных предметов  
их забыл занести в Красную книгу Главный эколог.

Поэтому у них не вполне задалась карьера,  
хотя они стали известны в своём околотке —  
сражённые собственной пулей, павшие у барьера  
или просто сгинувшие от водки.

Итак, мне дали займы чужое время, чтоб я его не профукал,  
гуляя, как сомнамбула в лазоревых рощах и чащах,  
а если, положим, в пятый загонят угол,  
чтоб не надеялся на милость властей предрежащих.

Моя первая книжка стояла двенадцать копеек,  
а последняя тянет, пожалуй, рублей на тыщу,  
и мой фейс, припудрив его, помещают в телек,  
дабы я призывал сограждан вкушать духовную пищу.

И не скажет ни один святой отец или ребе,  
что, может, лучше питаться акридами и носить власяницу  
и следить полёт вольного журавля в небе,  
а не кормить с руки опостылевшую синицу.

Занавес — и поздно выходить на поклоны,  
ибо зрители смылись до окончания действия.  
И если вдруг вдалеке твои нарисуются клоны,  
шансов других не будет, как сказано — не надейся.

Я по жизни читал Плутарха и даже Эмпирика Секста,  
изменял подругам, годы тратил впустую.  
Но из этого, допустим, не столь совершенного текста  
нельзя изъять ни единую запятую.

\* \* \*

Ну что — опять корейская война?  
...Мой первый класс — тогда, в пятидесятом,  
когда застыл в полшаге от рожна  
уставший ждать нерасщеплённый атом.

Артиллеристы, Сталин дал приказ!  
И холодом пахнуло с океана,  
и загремел услужливый фугас  
немедля — от Сеула до Пхеньяна.

Курился в сопках утренний туман,  
менялась историческая сцена —  
и оттеснял негодный Ли Сын Ман  
любезного нам с детства Ким Ир Сена.

Тот пятился надеждам вопреки!  
Но грозные, как воины Саула,  
вступали в бой китайские полки,  
нависнув от Пхеньяна до Сеула.

И сам Макартур ёжился, как бздун,  
и шли когорты, сушу половиня,  
и руку простирал Мао Цзедун  
на Тяньаньмэнь — от яня и до иня.

...Что мне Гекуба, что Гекубе я —  
в слепой ночи, в предвестье выбраковки,  
пока весы подьёмлет судия  
сквозь снежный вихрь на голой Маяковке.

Но всё нейдут чудные из башки  
названия, что мельче нонпарели,  
куда в азарте тыкал я флажки,  
к тридцать восьмой пробившись параллели.

...Зачем тебя, страну миллионов роз,  
и грёз моих, и нежности обитель,  
богиню — соименницу угроз  
не изваял какой-нибудь Пракситель?

Чтоб высилась ты твёрже и прямей  
над той землёй, что в ненависти слеpla,  
и чтоб не мучил памяти моей  
чуть слышный шорох жертвенного пепла.



## ПАМЯТИ Е. Е.

Мы, конечно, в этом неповинны:  
просто в мае, в некое число —  
ровно на твои сороковины  
всю столицу снегом занесло.

Как не узаконенные ГОСТом  
ангелы, бегущие от стуж,  
закружились хлопья над погостом,  
чтоб принять ещё одну из душ.

Может, в рай блаженные и внидут,  
протрубят архангелы отбой,  
только снега белые всё идут,  
как и было сказано тобой.

И навек твои смежая веки,  
над страной, не ведающей нег,  
идут припозднившиеся снега,  
словно первый, самый чистый снег.

## ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ ГАЧЕВА

В жизни книжной и облыжной,  
унижающей стократ,  
разве что погоде лыжной  
вроде Пушкина я рад.

Утром выгляну в оконце  
сквозь узоры зимних роз —  
так и есть: мороз и солнце.  
Пишем: солнце и мороз.

И приход свой обозначив,  
как у нас заведено,  
весь живой Георгий Гачев  
постучит в моё окно.

И по утренней пороше,  
там, где лесополоса,  
мы уйдём с тобою, Гоша,  
в эти самые леса.

Там не водится грабитель —  
лишь безмолвие и снег.  
Может, вот она — обитель  
этих самых чистых нег.

Но заходит ум за разум,  
сам себе уже не рад.  
И тобою я повязан,  
мой подельник и собрат.

Долготе духовных оргий,  
постижению азов  
научи меня, Георгий,  
любомудр и философ.

В чём, поведай, жизни фокус,  
как управиться с судьбой,  
где он, *космопсихологос*,  
столь излюбленный тобой?

Небо звёздное над нами,  
как и было испокон.  
Но куда в людском бедламе  
делся нравственный закон?

Недоступен этот номер  
или нет его в сети.  
Может, Бог и вправду умер  
в Бозе, Господи, прости!

Наши души расфигачив,  
прёт улыбчивое зло.  
Может, просто, друг мой Гачев,  
с веком нам не повезло?

...Но, не внемля этим толкам,  
как шалунья-инженю,  
белка шастает по ёлкам,  
шишки мечет на лыжню.

От Валдая до Алтая  
меж высоких облаков  
реют птицы, наблюдая  
растворенье воздушных.

Злой волчище каждый шорох  
ловит, сглатывая страх,  
словно прячущий в офшорах  
состоянье олигарх.

...И без всякого мажора,  
горькой правды не тая,  
мне указывает Жора  
на разумность бытия.

Уж такой выходит локус —  
хоть январь, а хоть июнь.  
Вот он, *космопсихологос* —  
всюду он, куда ни плюнь.

Смысл творения неведом!  
И отнюдь не по прямой  
мы с покойником-соседом  
возвращаемся домой.

Там огонь затеплят рано,  
и под пение харит  
там покойница Светлана  
нам картошечку сварит.

\* \* \*

Я хоронил товарищей моих —  
под звон цикад, под траурные марши.  
Сначала, как ведётся, тех из них,  
кто был тогда меня намного старше.

Затем настал ровесников черёд.  
И, придушив бессмысленные слёзы,  
у райских врат, у адовых ворот  
я покупал кладбищенские розы.

Но не дай Бог, когда в конце пути,  
как будто не исполнившему долга  
тебе уж те, кому до тридцати,  
с усмешкой жить приказывают долго.

\* \* \*

С годами всё похожей на отца  
я становлюсь. И, зная, не без причины  
в моём лице — черты его лица:  
всё твёрже рот, всё явственней морщины.

И отраженье матери, что так  
меня хранило в юности беспечной,  
тускнеет, словно стёршийся пятак —  
на склоне жизни и пред жизнью вечной.

Но, может быть, земное отлюбя,  
вне времени — ни старше, ни моложе,  
как бы впервые только на себя  
мы в смертный час становимся похожи.

\* \* \*

Почимся ж серьёзности и чести  
на западе у чуждого семейства.  
*О. Мандельштам. К немецкой речи*

Тётя Соня не любила немецкую речь.  
Хотя, наверное, не об этом речь.

В чешском городе Марианские Лазни (бывшем Мариенбаде)  
пьют минеральную воду и есть площадки для гольфа.  
...Я почти ничего не знаю о своём двоюродном брате,  
убитом через день после безоговорочной капитуляции  
снайпершей из вервольфа.

Зато я отлично помню тётю Соню, его маму-врача,  
одинокую старуху, ввергнутую во мрак,  
убеждённую, что лично её касаются строки  
Слуцкого Бориса Абрамовича  
«Как убивали мою бабуку?  
Мою бабуку убивали так...»

Ибо все её родичи (а было их, словно сосен в бору),  
верившие, что мы в сорок первом возьмём рейхстаг,  
были убиты

        без объяснений  
        в Бабьем Яру,  
и в других менее знаменитых местах.

Тётя Соня не выносила немецких фраз.  
И тут сам Гёте ей не указ.

О жестоковыйный язык, ты любишь, как ненавидишь, —  
кровь христианских младенцев, русиш швайн, маца —  
и если твои фонемы смягчил шелапутный идиш,  
то что же не умягчил он аборигенов сердца?

...Я уж давно немолод и лечу свои хвори в бывшем  
Мариенбаде,  
где *дойче шпрахе* несётся со всех сторон,  
и бюргеры Кёльна (опять цитата из Слуцкого)  
от местных красот в отпаде  
и не жалеют для поправленья здоровья ни евров, ни крон.

Впрочем, как можно предположить, язык ни при чём —  
дело, очевидно, в носителях языка.  
То есть в том, как носить его, защищать ли огнём и мечом  
от какого-нибудь харизматика и мудака.

Чтобы и русский, лучше которого, кажется, нет,  
моя отрада и мука и, может, мой тайный дух,  
не зазвучал бы однажды, как сивый бред,  
коробя и оскорбляя вселенский слух.



\* \* \*

Уготован ад нам, рай ли,  
совершён ли жизни круг,  
хорошо б узнать в Израиле —  
так сказать, из первых рук.

И брести бы, не судача,  
кроме Господа, ни с кем,  
от Стены, положим, Плача  
в ближний город Вифлеем.

Но вальяжен и неистов,  
ненасытен, как Ваал,  
вал лопочущих туристов  
валит, как девятый вал.

Сколько их и как их имя  
тут сам чёрт не разберёт,  
что сидит в Ершалаиме  
возле Мусорных ворот.

Враг Писания и Торы  
до скончания времён,  
сея вздоры и раздоры  
меж народов и племён.

Знать, не зря поэт Языков  
упреждал нас, дураков,  
о нашествии языков  
и смешеньи языков.

Но мерещится порою,  
что ещё надежда есть,  
и над Храмовой горою  
прозвучит благая весть.

Обрезанье ли, крестины,  
но едины дух и плоть.  
Машет веткой Палестины,  
всех приветствуя, Господь.

И войдём мы в Царство Божье,  
в вечность, сладкую, как джем,  
где у самого подножья  
расположен Яд ва-Шем.

\* \* \*

Коль режим полового покоя  
прописал тебе лечащий врач,  
убедившись, что это такое,  
не ропщи, не надейся, не плачь.

Утомлённое тело покоя,  
затаись, как на пенсии, тать,  
и режим полового покоя  
по часам начинай соблюдать.

Прилетит к тебе Оле Лукойе  
и почувствуешь ты, недвижим,  
что режим полового покоя  
самый добрый на свете режим.

Если встретишь ты женщину, коя  
проявляет к тебе интерес,  
не нарушь полового покоя,  
ибо счастье возможно и без.

Путь безумствуют Рубенс и Гойя,  
но до греческих, скажем, календ  
пребывай в состояньи покоя,  
как потомственный индифферент.

Одуряющий запах левкоя  
и закат, что горит за рекой...  
Но режим полового покоя  
абсолютен, как вечный покой.

Будет небо сиять голубое,  
где паришь ты почти невесом,  
времена полового разбоя  
вспоминая, как сладостный сон.

\* \* \*

Пол-лета, пол-лета, пол-лета прошло.  
Красотка Полетта сломала весло.

Красотка Мадина, почуяв почин,  
всплыла, как ундина, из водных пучин.

Красотка Сюзанна (коза, но не блядь),  
завидев пейзажа, пошла с ним гулять.

И в час, когда в Сене не дремлет карась,  
вся в розах и в сене ему отдалась.

Фланируя в лодке, но помня мораль,  
узрели красотки сию пастораль.

Испив ипокрену, что бил из земли,  
о том сюзерену они донесли.

И теща свой норов, сиятельный граф  
заставил партнёров пройти полиграф.

Но собственной гузки не видя в упор,  
от перенагрузки сломался прибор.

Напялив колготки на рыбьем меху,  
тогда все красотки предались греху.

И нежно Жизели шепнула Зизи:  
«Мадемуазели пора на УЗИ!»

Ах, сколь ты не фоткай — но даже шутя  
красотке с красоткой не сделать дитя.

...Лишь крошка Жюстина (в душе русофоб)  
месье де Кюстина читала взахлёб.

Под скрипы кибиток чужих палестин  
бранил москвиток маркиз де Кюстин.

Был строг и короток его эпикриз:  
в России красоток не встретил маркиз.

Но в силу понятных (и тайных) причин  
хвалил он приятных российский мужчин.

...Не пряча кручины, что в той стороне  
красавцы-мужчины остались одне,

что парни на Сене чуть дело — в кусты  
и новые сени годами пусты,

что нужные сводки не шлёт Лаперуз,  
с надеждой красотки вскричали: «O rus!»

\* \* \*

Собаки любят бескорыстно —  
не за Биг Мак.  
И было так всегда — и присно  
да будет так!

Собаки любят без оглядки,  
без громких фраз.  
Такие уж у них порядки —  
не как у нас.

Свободны от сомнений лишних  
у них умы.  
Они положат жизнь за ближних —  
не то что мы.

Судить их следует, как видно,  
по их делам.  
Им за себя бывает стыдно —  
не то что нам.

Но если ты не в настроеньи,  
то тут как тут:  
и мордой ткнут тебя в колени,  
и в нос лизнут.

Они подобны эскулапу,  
ты их не бойсь.  
Как сказано, на счастье лапу  
подай мне, Джойс.

А если кто посмотрит косо,  
то ай-яй-яй!  
И ты без всякого вопроса  
его лайяй!



\* \* \*

Что нам до улыбки Моны Лизы,  
до её загадочности, блин,  
если мы отхватим по ленд-лизу  
всё, что в Интернете наскоблим.

На фига нужны нам эти Моны,  
эти стоны, Господи, прости,  
если есть на свете покемоны,  
с кем нехило век свой провести?

Ибо время пестовать и нежить  
не сограждан, жадных и тупых,  
а — обворожительную нежить,  
что, прикинь, живее всех живых.

\* \* \*

Блещут шпаги, сыплются реалы,  
кабальеры ломаются в альков...  
Не подсесть ли нам на сериалы  
в новогодье — жребий наш таков.

В эти дни блаженного безделья,  
что лишь раз случаются в году,  
предпочтём готовые изделия  
интеллектуальному труду.

Вот романа пламенного завязь,  
вот кинжал в доверчивой груди...  
За пивком, кайфуя и расслабься,  
за сюжетом нехотя следи.

Что героя ждёт за поворотом,  
кто убийца с низменной душой?  
Не ревнуй к падениям и взлётам  
жизни авантажной и чужой.

Ты не честолюбец и не гений,  
и, наверно, это не беда,  
что таких отчаянных мгновений  
у тебя не будет никогда.

Что ж, утешься позднею обидой,  
досмотри прикольное кино.  
И жене нечаянно не выдай,  
что, блин, разлюбил её давно.

\* \* \*

Ну что ж, и я умру когда-то,  
мой милый друг.  
И станешь ты персоной грата  
в кругу подруг.

Входя в любое помещение,  
не без причин  
ты станешь повергать в смущенье  
сердца мужчин.

...Река забвенья будет литься,  
качая плот.  
И звёзды будут шевелиться  
и над, и под.

И неба этого бездонней  
не знал никто.  
И жизнь твоя, как на ладони,  
вся — от и до.

А там вдали, за листопадом,  
на склоне дня  
тебя приветит кто-то взглядом,  
кто знал меня.

И будут дни тянуться долги  
с тоской и без.  
И, может, вновь беднягу Порги  
полюбит Бесс.

\* \* \*

Выйдя к залу многоглазому,  
очи хмурые воздев,  
научу-ка уму-разуму  
этих юношей и дев.

Мол, со мною не забалуешь —  
хоть не Тур я Хейердал,  
но, однако, не столь мало уж  
я в сей жизни повидал.

Зрел поэта, пригвождённого  
враз к позорному столбу.  
Видел маршала Будённого —  
не на лошади, в гробу.

Хоть и тема это личная,  
не забыть до крайних дней,  
сколько стоила «Столичная»,  
килька баночная к ней.

Помню Мао я и Сталина,  
и Никиты разбалдёж...  
— Что ты, старая развалина,  
охмуряешь молодёжь?

Что им фатеры и муттеры  
и в груди чадающий уголь,  
если есть у них компьютеры:  
жаждешь истины? Погугль!

Не спастись уже Афонами —  
вместо этой чепухи  
офигенными айфонами  
отпускаемы грехи.

На просторах милой Родины,  
богоизбранной страны,  
нам ни Пушкины, ни Одены,  
ни Шекспиры не нужны.

...И, услышав эти доводы,  
я в пустыню подался,  
где меня кусали оводы,  
больно жалила оса,

где любое насекомое  
причинить старалось вред.  
...И младое, незнакомое  
хохотало мне вослед.

## ЭТЮД

За что б я ни брался,  
про что б ни пытал —  
мелодия Брамса  
гналась по пятам.

Корячился диктор  
косой от вранья —  
Нейгауз и Рихтер  
спасали меня.

С глазами навывкат  
пусть ржёт шоумен —  
по-прежнему выгод  
не ищет Шопен.

(Зачем ни в какой  
не внесённый реестр  
играет такой  
зашибенный оркестр,

где каждому рай дан  
и каждый велик?)  
О Шуберт! О Гайдн!  
О Глинка! О Григ!

Над бездною горбясь,  
чтоб я не робел,  
в запретную область  
вступает Равель.

Не ведая пауз,  
лабают легки  
Вивальди и Штраус  
в четыре руки.

Хоть мир и греховен,  
но всё нипочём,  
коль в теме Бетховен  
с Петром Ильичом.

...За речкою Коцит  
не ценят соц-арт.  
Там царствует Моцарт,  
а может, Моцáрт.

На крышке вощёной  
он пишет «Good day!»  
О брат неотомщённый  
Вольфганг Амадей!

И, взором нетрезвым  
блуждая окрест,  
сквозь тернии к звездам  
взмывает Модест.

И узники смерти  
встают во гробах...  
...О Вагнер! О Верди!  
О Скрябин! О Бах!

...Гуляет на воле,  
поскольку привык,  
комаринский, что ли,  
прикольный мужик.

И голосом Отса  
среди всех передряг  
врагу не сдаётся  
наш гордый «Варяг».

На радость дочурке,  
играет гармонь.  
И бьётся в печурке  
тот вечный огонь.

...Пускай я в накладе  
от разных афер,  
но жить бы мне ради  
той музыки сфер.

И, веря в поруку  
блаженнейших слов,  
не смыслу, но звуку  
внимать я готов.

Не в этой ль пучине  
придёт мне каюк?  
О Лист! О Пуччини!  
О Гендель! О Глюк!



## АСТАПОВО

Может, и впрямь этот мир иллюзорен  
и преисполнен наитий и грёз.  
...Но станционный начальник Озолин  
благоразумен, толков и тверёз.

Не ожидая событий недолжных,  
не одобряя, случись они где б,  
он на распутьях железнодорожных  
единовластный вершитель судеб.

Но изменяется жизни исходник,  
свист паровозный несётся вдогон,  
и на путях непостижных господних  
ждёт отправленья последний вагон.

Видно, у смерти язык намозолен —  
местные вести уходят в улёт.  
Чем же ты столь провинился, Озолин,  
если в такой угодил переплёт?

Что же, заглянем в буфет станционный,  
дёрнем по маленькой — за упокой.  
Жаль, что насельник обители оной  
нам не махнёт на прощанье рукой.

Ибо он только свидетель и зритель,  
неразличимый в пучине утрат.  
Старый дурак, станционный смотритель,  
птицею-тройкой раздавленный брат.

\* \* \*

В памяти твёрдой и ясном уме,  
не говоривший ни бе и не ме,  
я заявляю публично:  
прошлое мне безразлично.

Что там мутилось за гранью веков,  
кто пробирался к царице в альков —  
я разбираться не стану:  
мне это по барабану.

С кем А. С. Пушкин шампанское пил,  
кто там геройствовал у Фермопил,  
быстры ли струги у Стеньки —  
мне это, в общем, до феньки.

Цезарь ли кем-то когда-то убит,  
Ленин ли пестует Брестский гамбит,  
Данте ль откуда-то выжит —  
это меня не колышет.

Вправду ль крестили кого-то в Днепре,  
что написали Мольер и Рабле —  
вместе, а может, отдельно —  
мне это всё параллельно.

Плачет ли сердце в гитарной струне,  
тьнь ли мелькает в туманном окне  
тютчево-блоково-фетово —  
это мне всё фиолетово.

Сиюминутность ценя одному,  
я без оглядки отныне живу.  
Кушаю рябчиков с грядки,  
ибо живу без оглядки.

Сонму тупых исторических лиц  
предпочитаю смешливых девиц,  
чей без сомнений и споров  
ум занимает Киркоров.

\* \* \*

Я стихи пишу традиционно,  
строю их в колонны и в каре.  
Тупо ставлю, как во время оно,  
точки, запятые и тире.

Стихотворец малого калибра,  
никого не бьющий по губам,  
я ценю возможности верлибра,  
уважаю и анжамбеман.

Но милей мне строгие размеры,  
и в любовных стансах вдругорядь  
матерную лексику сверх меры  
я стараюсь не употреблять.

В избранной компании, за вистом  
или меж Лафитом и Клико  
вы меня б назвали шишковистом  
и послали б очень далеко.

И туда, отнюдь не корча целки,  
двинусь я, не тратясь на бензин,  
в упованьи, что мои безделки,  
может быть, оценит Карамзин.

\* \* \*

Бабушка с дедушкой, мать и отец,  
пращурь, праотцы — и, как венец,  
в этом порядке творенья  
автор стихотворенья.

Вправду ль ты веришь, любимец харит,  
что фимиам тебе дружно курит  
чуждый высоких наречий  
хор благодарных предтечей?

Что, восхищая Москву и Париж,  
ты над листом одиноко паришь,  
словно Создатель над бездной?  
Не обольщайся, любезный.

Ибо в аду, где в почёте стихи,  
плачет, свои искупая грехи,  
или смеётся до колик  
дядюшка твой алкоголик.

\* \* \*

Рождённый в любезной отчизне,  
где свету сопутствует тьма,  
я прожил две пушкинских жизни,  
но так и не нажил ума.

Душевной не маялся смутой,  
встревая во всякую нудь.  
И честную чашу с цикутой  
отнюдь я не принял, отнюдь.

И Русь от меня не балдела,  
не слал поздравлений Кабмин.  
И Бог моё личное дело,  
задумавшись, бросил в камин.

Гнушаясь таковскою мордой,  
шли мимо: не вяжущий лык  
и внук славянина прегордый,  
и, знамо, тунгус и калмык.

И словно бы в миг озаренья  
я понял, что дело труба —  
что крепко травой забвенья  
ко мне зарастает тропа.

Что немощен звук моих песен  
за здоровье ль, за упокой,  
и, значит, народу любезен  
навряд ли я буду такой.

Ни жёны не в курсе, ни дети.  
Но, может, до Судного дня  
на том ли, на этом ли свете  
хоть ты да вспомнешь меня?..

\* \* \*

Время, висящее на волоске, —  
море стирает следы на песке.

В поле, в лесу ли, у кромки воды  
наши с тобой исчезают следы.

Всё пропадает за ними вослед —  
памяти нету и прошлого нет.

Время свернулось, пространство рябит,  
праздные сходят планеты с орбит.

Будто бухают, угробив ландшафт,  
черти и ангелы — на брудершафт.

Снова безвидна земля и пуста —  
с чистого Бог начинает листа.

Рея над бездной, в рассветную рань  
Он простирает творящую длань.

Вот уже свет отделился от тьмы.  
Малость терпенья — и явимся мы.

...Солнце, встающее наискосок,  
время сыпучее, словно песок.

И, как в насмешку, у самой воды  
снова несмытые наши следы.



\* \* \*

Твои инициалы схожи со словом ОК.  
Сорок лет миновало уже, дружок.  
Но, завидев литеры О и К,  
как дурак, я вздрагиваю слегка.

Будь я сладкоголосым, что твой Алкей,  
я, наверно, шепнул бы тебе: окей!  
И, быть может, юная, как Суок,  
ты опять явилась бы — прыг да скок.

Но давно перепутан весь алфавит,  
и от гула вечности нас знобит.  
И нельзя, твои руки сжав поутру,  
снова лгать, что я без тебя умру.

\* \* \*

Три женщины, которых я любил,  
и у которых сам был на примете,  
и с коими расстался, как debil, —  
из них, положим, трёх уж нет на свете.

Одна была созданием небес,  
чистейшим сном, сияньем глаз невинных.  
Её портреты асы ВВС,  
взмывая к звёздам, вешали в кабинах.

Она, грустя, садилась за клавир.  
Она простых придерживалась правил.  
И, может быть, оставила сей мир  
лишь потому, что он её оставил.

Зато другая наломала дров —  
безбашница, что гарцевала в Битце,  
изменщица, оторва из оторв,  
чьи ножки были лучшими в столице.

Она портвейн глушила из горла,  
зане искала душу в человеке.  
И, не найдя, до срока умерла —  
не знаю точно, кажется в Бишкеке.

О третьей же я лучше умолчу.  
Лишь уповаю с истовою силой,  
что на помин души её свечу  
мне не затеплить, Бог меня помилуй.

\* \* \*

Времени всё истончается нить,  
как ты ни нукай.  
Надо бы что-нибудь сочинить  
перед разлукой.

Может быть, в прозе излить свою желчь —  
в чёрта ли, в Бога ль —  
и, написавши, немедленно сжечь,  
плача, как Гоголь.

И расточится мой дивный талант  
в замяти русской,  
и не почитит меня жлоб-аспирант  
вежливой сноской.

И умиление мой тихий отвал  
вызовет в детях,  
ибо не слишком я их доставал,  
канувший в нетях,

где неизбывных грехов моих рать  
мама лишь видит...  
Как бы мне к жизни своей подобрать  
сносный эпитет?

Может, и вправду забавать стишок  
с рифмой-подлюгой,  
может быть, выпить на посошок  
с юной подругой?

Глядь, на исходе осеннего дня  
в первопрестольной  
други-поэты помянут меня  
с грустью пристойной.

И завиляет обрубком хвоста  
пёс мой подлиза.  
И, похмелившись, отверзнет уста  
бедная Лиза.

\* \* \*

Не хочу я больше быть учёным —  
это званье мне не по плечу.  
Ни о чём бесплотно-отвлечённом  
толковать ни с кем я не хочу.

Что за радость рваться в эмпирии  
и в другие горние края,  
если наши праотцы — евреи  
написали Книгу Бытия.

Если можно славить без зазрения  
днём и ночью Божью благодать,  
ибо зренье выше умозрения —  
чтобы век мне воли не видать!

Водку ли ты пьёшь или какаву,  
но, покуда веки не смежил,  
надо жить не мудрствуя лукаво —  
сухой буду (чтобы я так жил!).

Был я умный, врал напропалую,  
но моё устало ДНК.  
Дай тебя я лучше поцелую  
на исходе летнего денька.

В мире пусто, страшно, ледниково,  
но, как он — не стоящего благ,  
ты не отвергай меня такого —  
кто никто и звать кого никак.

Даже если в приступе маразма  
за того, кем славен Роттердам, —  
за светильник разума — Эразма  
я и грóша медного не дам.

\* \* \*

Что там гремело за станцией Лось  
ночью сегодня?  
Видимо, снова не задалось  
лето Господне.

Видимо, сроки подходят уже  
крайние вроде.  
Что, человек, у тебя на душе,  
то и в природе.

...Там, за рекою, дымят лопухи,  
меркнут Стожары.  
Скоро столицу за наши грехи  
выжгут пожары.

С кем обручён этот огненный век,  
кто сей избранник —  
то ли Нерон, то ли вещей Олег,  
то ли торфяник.

Что же нам делать спасения для,  
порознь и свально,  
если горит под ногами земля,  
то есть — буквально.

Если не выручит даже и газ  
из преисподней,  
ибо опять отступилось от нас  
лето Господне.



\* \* \*

Восходит красная луна  
над чудью, нелюдью и мерью.  
Прощай, великая страна,  
ушедшая, не хлопнув дверью.

Мы вновь свободою горим  
в предвестье радостных событий.  
Прощай, немый Третий Рим —  
уже четвёртому не быти.

Гудбай, отвязная мечта!  
Но, как историю ни меряй,  
нет горше участи, чем та —  
жить на развалинах империй.

Восходит красная луна  
над укороченною сушей.  
Прощай, нелепая страна —  
мы жертвы собственных бездуший.

Прости нам этот сон и бред,  
что мы, лишённые прописки,  
не поглядели даже вслед:  
ты уходила по-английски.

Твой путь и светел, и кровав.  
И, словно древние этруски,  
ты канешь в вечности — не дав  
хотя б отпеть тебя по-русски.

\* \* \*

*Пермь — быв. г. Молотов, ныне Пермь.  
(Из энциклопедии)*

Я родился в городе Перми.  
Я Перми не помню, чёрт возьми.

Железнодорожная больница.  
Родовспомогательная часть.  
Бытиё пока ещё мне снится,  
от небытия не отлучась.

Год военный, голый, откровенный.  
Жизнь и смерть, глядящие в упор,  
подразумевают неотменный  
выносимый ими приговор.

Враг стоит от Волги до Ла-Манша,  
и отца дорога далека.  
Чем утешит мама, дебютантша,  
военкора с корочкой «Гудка»?

И, эвакуацией заброшен  
на брюхатый танками Урал,  
я на свет являюсь недоношен —  
немцам насмех, чёрт бы их побрал!

Я на свет являюсь — безымянный,  
осенённый смертною пургой.  
Не особо, в общем, и желанный,  
но хранимый тайною рукой —

в городе, где всё мне незнакомо,  
где забит балетными отель,  
названном по имени наркома,  
как противотанковый коктейль.

И у края жизни непочатой  
выживаю с прочими детьми  
Я — москвич, под бомбами зачатый  
и рождённый в городе Перми,

где блаженно сплю, один из судей  
той страны, не сдавшейся в бою,  
чьи фронты из всех своих орудий  
мне играют баюшки-баю.

\* \* \*

Отец уже три года не вставал.  
Родня, как это водится, слиняла.  
И мать, влачась, как на лесоповал,  
ему с усилием памперсы меняла.

Им было девяносто. Три войны.  
Бог миловал отсиживать на нарах.  
Путёвка в Крым. Агония страны.  
Бред перестройки. Дача в Катуарах.

И мать пряла так долго эту нить  
лишь для того, чтоб не сказаться стервой —  
чтобы самой отца похоронить.  
Но вышло так — её призвали первой.

И, уходя в тот несказанный край,  
где нет ни льгот, ни времени, ни правил,  
она шепнула: «Лёня, догоняй!» —  
и ждать себя отец мой не заставил.

Они ушли в две тысячи втором.  
А я живу. И ничего такого.  
И мир не рухнул. И не грянул гром —  
лишь Сколковом назвали Востряково.

\* \* \*

Я — мыслящий тростник.  
Я бурями колеблем.  
Я сам себе двойник,  
зелёным ставший стеблем.

Я мыслю, как Сократ —  
без края, без границы,  
и надо мной парят  
немыслимые птицы.

И смотрят на восток  
невиданные маки.  
Но ум мой одинокий,  
как Дева в зодиаке.

Не мучь меня, отзынь,  
всяк помысел греховный:  
растительная жизнь  
духовнее духовной!

Лети, мой автозак,  
с Ленгор на Моховую.  
Я мыслю кое-как  
и так же существую.

Я — мыслящий тростник,  
не лик на биеннале.  
Смешон мой жалкий ник  
в полуживом журнале.

Ах, если б наобум —  
к везунчикам, везуньям,  
пока мой слабый ум  
не помрачён безумьем.

Пока средь камыша,  
в ком проку никакого,  
дрожит моя душа,  
нежна и тростникова.

...За лесополосой —  
ни церкви, ни мечети.  
Там смерть стоит с косой,  
похожей на мачете.

Стыдлива до поры,  
от похоти косая,  
враждебные миры  
с собой соприкася.

Не затевай сыр-бор  
в надежде объясниться:  
тебя не зрит в упор  
неистовая жница.

Но, прущая с рожна,  
бесстыжая, как выстрел,  
она не столь страшна,  
раз ты её помыслил.

Раз в утреннюю тишь,  
не поменяв пластинку,  
ты вновь и вновь дудишь,  
как лох, в свою тростинку.

И плещется волна,  
зелёная от ила.  
И мысль разрешена,  
и всё не так уж хило,

коль Бог толпу светил,  
привеченных богами,  
вращаться попустил  
над нами, тростниками.

\* \* \*

Хотел родить стихотворенье.  
Но — не везло.  
Ну что же: к чёрту вдохновенье —  
правь ремесло.

К чему волшебная отмычка?  
Всё это ложь.  
В наличье — жопа и привычка:  
их не пропьёшь.

В наличье — сумма технологий —  
фреза, слеза.  
Глядишь, и троечник убогий  
покрыл туза.

Рыдают в голос аониды  
и толпы масс.  
А эстетические гниды  
нам не указ.

А ты, взыскательный художник,  
не из хазар?  
Разбей свой долбаный треножник,  
фильтруй базар.

Рифмуй без тени сожаленья  
добро и зло.  
Нам написать стихотворенье  
не запаadlo.



## ИЗВИНЕНИЕ ПЕРЕД НАСЕКОМЫМ

Однажды, сидя у компа  
и сочиняя невозбранно,  
во гневе я убил клопа,  
приползшего на свет экрана.

Точнее, это был не клоп,  
а жук, огромный насекомый,  
хотя и страшный, как циклоп,  
но тягой к знаниям влекомый.

Зачем сгубил я существо,  
не лишнее в природе зыбкой,  
надменно посчитав его  
зоологической ошибкой?

Зачем не дрогнула рука,  
поняв, что это не игрушки  
и что от бедного жука  
недолог путь и до старушки?

О нет, я далеко не йог  
и не эколог из Небраски,  
не гуманист, но, видит Бог,  
я не желал такой развязки.

Напрасно посягнул я на  
того, чьи крылышки повисли,  
кто мог бы оценить сполна  
полёт моей высокой мысли.

И если даже жизнь — борьба,  
для исполнения сверхзадачи  
не надо убивать клопа,  
жука безвинного — тем паче.

Чтоб не вводить себя во грех,  
и жить на совести без пятен,  
мочить не надо даже тех,  
кто нам, положим, неприятен.

Насельник скромный ЖКХ  
и верный член электората,  
прошу прощенья у жука:  
да обойдёт меня расплата!

Да не поставит мир жуков  
вдруг точку на моей карьере,  
и не вползёт ко мне в альков,  
и не присудит к высшей мере.

\* \* \*

Жил на свете рыцарь бедный,  
неуклюж и неумел.  
Но зато привычки вредной  
ни одной он не имел.

Он, ни много и ни мало,  
только истины алкал:  
как бы в жажде идеала  
отыскать свой идеал.

...Рыцарь бедный в платье бедном  
на скрещении дорог,  
посмотри, как тазом медным  
накрывается Восток.

Здесь у нас, в родных пенатах,  
положенье таково:  
в бедных хатах и в заплатах  
пребывает большинство.

Либеральные злодеи  
охмуряют молодёжь.  
Есть «Икея», нет идеи,  
да и где её найдёшь?

Ты подался бы на Север,  
где и горе не беда,  
но кричит ворона: «never-  
more», что значит «никогда».

Там тусуются медведи,  
бедных путников губя,  
и, как знают даже дети,  
вреден Север для тебя.

Рыцарь бедный, друг мой ситный,  
коль свобода дорога,  
брось свой взор пепеловидный  
на мятежные юга.

Глянь, средь пламенной природы,  
нефтевышек и статуй  
обозлённые народы  
затевают сабантуй.

Кто бы ни был там горы царь,  
с ним не сладится роман.  
Вряд ли станешь, бедный рыцарь,  
ты усладой мусульман.

Да и там, где правят шабат,  
бедных рыцарей не чтут.  
....Поезжай-ка ты на Запад —  
Запад очень даже крут.

Он твои укрепит нервы,  
будет личности гарант,  
и на грантовские евры  
ты прикинешься, как гранд.

Благонравен и респектен  
там и чёрт, и херувим,  
каждый там политкорректен  
к тайным мерзостям своим.

Правда, честь пообветшала,  
словно старая праща.  
Славных рыцарей кинжала  
сдали рыцари плаща.

Потому и одиноко  
и печально оттого,  
что без страха и упрёка  
не сыскать ни одного.

Повезло на повороте  
нам с утечкою сердец:  
не проходишь ты по квоте —  
бедным рыцарям трындец.

Что ж, коль нету аусвайса  
в край, где мыслил Августин,  
не печалься, оставайся  
среди родимых палестин.

Где живу я, не горюю,  
что невесело житьё.  
Справим мы тебе и сбрую,  
и приличное копьё.

Коль виагру и сиалис  
принимать по вечерам,  
то мужчиной юбер аллес  
будешь ты на радость дам.

Если даже тень Чубайса  
перекроет главный путь,  
не тушуйся, оставайся —  
сдюжим с этим как-нибудь.

...И услышав гром победный,  
что взлетал под облака,  
в первый раз наш рыцарь бедный  
приободрился слегка.

Образован, как Брокгауз,  
в непорочной чистоте  
«Ave, tuhes, Santa Klaus!» —  
написал он на щите.

Стал он радостен, как йети,  
как подавший на УДО.  
И с тех пор его на свете  
не встречал уже никто.

\* \* \*

Этот мальчик желает пробиться,  
примелькаться, вписаться в строку,  
удостоиться звания провидца,  
очутиться в известном кругу.

Узнаю тебя, узник абстракций,  
выбиватель казённых щедрот,  
завсегдатай столичных редакций,  
сочинитель вчерашних острот!

Узнаю этот честный румянец  
и повадку, и пыл деловой.  
...Затеваается лёгкий романец  
там, где надо платить головой.

Ибо иначе звучность глагола,  
что беспечно течёт по устам,  
есть всего лишь цветение пола,  
как однажды сказал Мандельштам.

А иначе все эти удачи,  
эти жгучие грёзы и сны  
обращаются в поздние плачи —  
и уже не имеют цены.

## ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

Багрицкий (урожд. Дзюбин), Самойлов (урожд. Кауфман),  
Кушнер и Левитанский, Слуцкий и Бродский,  
не говоря уже о Пастернаке и Мандельштаме:  
к русской поэзии примазались люди  
с двусмысленными фамилиями,  
характерными, впрочем, для выходцев  
из бедных еврейских местечек —  
сапожников (как правило, талмудистов), часовщиков, портных,  
а также для их выбившихся в люди детишек —  
негоциантов, адвокатов, ювелиров, зубных врачей.  
Такие фамилии, как ни темни, сразу обличают происхождение,  
не давая их обладателям шанс укрыться  
от справедливого людского суда.  
Скажем, Давид Самойлов, печатая стихи,  
всегда ставил вместо своего полного имени красивую букву Д.  
Давид — выглядело бы нескромно, почти вызывающе.  
А так — может быть, кто и подумает, что это — Данила.  
(Не дай Б-г Даниил.) Или, положим, Дмитрий.  
А на худой конец — Дормидонт.  
Слуцкого Бориса Абрамовича сильно компрометировало его  
неудобное отчество (в отличие от более благополучного в этом  
отношении Бориса Леонидовича).  
Но он его отнюдь не скрывал и даже написал знаменитое «Евреи  
хлеба не сеют...»,  
которое, впрочем, при жизни так и не сумел напечатать.



Осипу Эмильевичу с таким именем-отчеством  
и вовсе некуда было деваться:  
пиши стихи не пиши, а видно сразу: не Иванов.  
Но несчастливец, кажется, из-за этого особенно  
не переживал.  
И даже неосторожно давал понять,  
что улицу в самом сердце России когда-нибудь назовут  
его одиозной фамилией.  
Хитроумный Бродский своё имя Иосиф  
мог бы, конечно, объяснить не какими-то  
библейскими аллюзиями,  
а горячей любовью родителей к отцу  
всех советских народов,  
но у него почему-то не возникало потребности  
в аргументах подобного свойства.  
Итак, русские поэты еврейского происхождения  
(или, как некоторые любят уточнять,  
русскоязычные стихотворцы)  
делали своё дело, не заботясь о том,  
что подумают об этом иные бдительные сограждане,  
для коих пятый пункт  
(язык не поворачивается назвать его устаревшим,  
ибо нет ничего более вечного)  
является камнем преткновения (одновременно —  
камнем за пазухой),  
который следует незамедлительно бросить в тех,  
кто уж точно не без греха.

Между тем великих русских поэтов русского происхождения (то есть, как можно догадаться, тоже русскоязычных) не особенно волновали анкетные данные иностранцев — их соперников и коллег.

Но они весьма ревниво относились к их рифмам, метафорам, не говоря уже об анжамбеманах — как, собственно, и поступают поэты всех времён и народов. Ибо если строфа твоя крива и убога, ничто тебе не поможет — будь ты даже по паспорту сыном фараона Аменхотепа.

Итак, большие русские поэты еврейского происхождения, равно как и большие русские поэты происхождения нееврейского, к стыду своему, забывали об этом важном различии.

Впрочем, те и другие — хотели они этого или нет — оказались в итоге гордостью русского народа.

Что бы ни говорил по этому поводу Станислав Куняев.

\* \* \*

*Что-то физики в почёте,  
Что-то лирики в загоне...*  
Б. Слуцкий

Что-то физики в загоне,  
метафизики в почёте.  
Нынче Омы и Маркони —  
в каждом гноме-звездочёте.

Нам астральные кликуши  
поважней, чем Нильсы Боры,  
что не могут наши души  
разглядеть в свои приборы.

Наши эльфы-практиканты  
посильней, чем «Фауст» Гёте,  
и они, пожалуй, Данте  
не уступят ни иоты.

Брак, развод и курс валюты  
нам предскажут ворожеи,  
а не эти институты,  
что сидят у нас на шее.

И пускай друг другу факсы  
посылают Максы Планки,  
нам бы знать, как наши баксы  
помещать в какие банки.

И оставь свою повадку  
факты брать из интернета,  
ибо знает правду-матку  
только тень отца Гамлета.

Значит, на интеллигентов  
зря жалели мы патронов,  
ибо нету дивидендов  
с ихних синхрофазотронов.

Слушать нам какого хрена  
этих жалких сибаритов?  
Отдадим себя смиренно  
в руки магов и спиритов.

И хоть всюду безнадежье,  
из Урюпинска и Пензы  
нас по благу в Царство Божье  
перекинут экстрасенсы.

## ФУТБОЛЬНОЕ (ЕВРО 2012)

Кто только мяч ногами не пинал,  
сулил победу, грозен и державен,  
нам не помог пройти в четвертьфинал  
ни русский бог, ни случай, ни Аршавин.

Зачем стараться из последних сил  
рвать связи, пробиваясь на штрафную,  
когда и так ты все блага вкусил,  
не разорив страну свою родную.

Дик Адвокат и без того богат,  
ему плевать на вопли маловеров,  
когда он в бой ведёт свой продотряд —  
команду молодых миллионеров.

Вперёд, Россия! Дел непроворот —  
где даль, где поворот за поворотом,  
где я, твой сын, не буду, как урод,  
опять лупить по собственным воротам.

## ТУРЕЦКОЕ

*Стамбул гяуры нынче славят...*

А. С. Пушкин

Мы нация добрых отчасти,  
простых и наивных натур...  
Ты жаждешь всемирного счастья —  
купи себе в Турцию тур.

Не в худших местах ойкумены,  
где ценят отельный уют,  
тебе угождают нацмены  
и райские птицы поют.

Понежь свои кости на пляже,  
где дух возвышаем жратвой,  
где наши мамыши из Раши  
братаются с нашей братвой.

Отправь по имейлу маляву  
и пей дармовое вино,  
и, в общем, гуляй на халяву  
по принципу: «Всё включено».

К чему было рвать организмы  
и верить в блаженные сны,  
когда все мечты коммунизма  
здесь запросто воплощены.

Но кстати, презренный металлиец  
нелишне иметь под рукой...  
Не здесь ли уж, русский скиталец,  
ты мир обретёшь и покой?

Уймись, наконец, бедолага,  
кайфуй и не будь дураком —  
под сенью турецкого флага,  
что, впрочем, до боли знаком.

Звезду на полотнище алом  
венчает не молот, так серп.  
И, кажется, дело за малым,  
чтоб вспомнить отеческий герб.

Тем паче, что хор молодецкий  
полночи гремит из окна:  
«Не нужен мне берег турецкий  
и Африка мне не нужна!»

\* \* \*

Но взгляните на лица детей!  
Поглядите на детские лица!  
Ни злодей и ни прелюбодей  
здесь ни в ком не посмели явиться.

Я не знаю, с чего ты взяла —  
хоть опять эти веянья в моде —  
что истоки вселенского зла  
закljučаются в нашей природе.

Ты стучишь на машинке всю ночь.  
И подвластная звукам знакомым,  
спит твоя годовалая дочь  
на диване, что куплен месткомом.

Мы, возможно, и будем в аду.  
Но недаром сей ангел небесный  
в деревянную дует дуду  
и парит над кромешною бездной.

Он не жалок и он не велик —  
он не вырос ещё из пелёнок.  
Обобщи человеческий лик  
и уверься, что это — ребёнок.



\* \* \*

Подымался ни свет ни заря.  
Пил из крана холодную воду.  
Этой осенью, видно, не зря  
обещали сухую погоду.

Жгли костры на бульварах — и дым  
обнаруживал зону сгорания.  
...Был жестоким и был молодым —  
не бессмертья хотел, а признанья.

Между тем приближался момент.  
Выползали трамваи из парка.  
Разносил телеграммы студент.  
Начиналась дневная запарка.

И ничто ни души, ни ума  
не смущало, когда без боязни  
всё давалось за так, задарма —  
как по чьей-то случайной приязни...

\* \* \*

Давай-ка с тобой потолкуем,  
покуда ясны небеса.  
Подумаешь, чем мы рискуем —  
в запасе ещё полчаса.

Ещё полчаса есть в запасе —  
полжизни в запасе! А там,  
быть может, погода на трассе  
взыграет на счастье нам.

И ты не уедешь в четыре,  
поскольку закрыт небосклон,  
поскольку идёт над Сибирью  
неистойой силы циклон.

Пока он пытается дунуть  
иерихонской трубой,  
ты можешь вполне передумать,  
как это случилось с тобой...

\* \* \*

Эта двенадцатилетняя связь —  
старой ограды чугунная вязь,

кеды, забытые влажным песком,  
жёлтые листья в пруду городском.

Кто это знает? Никто и нигде,  
что отразилось в вечерней воде.

Может быть, некто и помнит про то?  
Не обольщайся: нигде и никто.

Значит, тому и названия нет  
по минованье двенадцати лет.

Смысл, к огорчению, неразличим  
по истеченье двенадцати зим.

Ветра круженье, сиротство скамей  
предполагают крушенье семей.

Да и прогулки у старых оград  
усугубляют лишь горечь утрат.

— Чем же держалась, — ты спросишь, дивясь, —  
эта двенадцатилетняя связь? —

сон наяву, наваждение, бред...

— Милая, этому имени нет.

Может быть, просто имелись в виду  
жёлтые листья в осеннем пруду,

дождик нечастый, круги по воде...

Но, к сожаленью: никто и нигде.

\* \* \*

Вероломная, нежная, злая,  
беспородных болотных кровей,  
под разлёты вороньего грая  
что ты сделала с жизнью моей?

Что ты сделала с нашим жилищем,  
как Рязань, разорённым во прах,  
с этим счастьем недолгим и нищим,  
с первым словом на детских устах?

Значит, время страшнее, чем Ирод,  
если женщина в дикой борьбе,  
умножая количество сирот,  
пробивает дорогу себе.

Я теперь заодно с листопадом,  
с этой ширью, где охра и ржа,  
где кружит над заброшенным садом  
уязвленная мною душа.

Где подруга последняя — осень  
от меня поспешает во тьму.  
И под шум переделкинских сосен  
так легко засыпать одному.

\* \* \*

Мне дочери нынче явились во сне:  
все трое — печальны, все трое — одне.

В безвидной пустыне иль мёртвых горах,  
где ветер вздымает лишь каменный прах,

где бледное небо подобно стеклу,  
стоят они, очи вперяя во мглу.

И нету окрест ни листка, ни леска,  
и чёрная птица над ними — тоска.

Я руки в отчаяньи к детям простер.  
— Ты плачешь, — сказала одна из сестёр.

— Ты плачешь, — меньшая промолвила дочь, —  
но слёзы твои превращаются в ночь.

Напрасно ты наше смутил забытьё.  
Ступай, нам неведомо имя твоё.

И дочь вторая отверзла уста:  
— Как этот ландшафт, наша память пуста.

Но вижу души твоей чёрный астрал.  
Пришелец из прошлого, ты опоздал.

В долине безумья, где мёртвая падь,  
наш сон окормляет безумная мать.

И кто бы ты ни был — надежд не таи:  
лишь ада исчадия — чада твои!

...Но словно бы луч, проникающий ночь,  
шагнула из морока старшая дочь.

В глаза мои, словно в бездонную щель,  
взглянула любимая старшая дочь.

И тень узнаванья прошла по лицу.  
И горько она улыбнулась отцу.

И молча три тени склонились ко мне.  
— О дети... — шепнул я — и умер во сне.

\* \* \*

Вот над ветлой у пруда  
встала ночная звезда.  
И все каналы тиви  
изнемогли от любви.

Что же опять ты не спишь,  
сонную двигая мышь,  
вместо того чтобы в дым  
с гостем упиться ночным?

Знаю я, как тебе влом  
лоб наклонять над столом  
и разбирать, как в ЧК,  
птичьи мои почерка,

братъ у издательских дур  
груды моих партитур  
или печатать мой бред  
целую ночь напролет.

Падают слёзы весь век  
с этих натруженных век.  
Этих измученных глаз  
свет до сих пор не угас.



Словно какой-нибудь граф,  
я б сочинил эпиграф,  
но не годится латынь,  
чтоб растопить эту стынь.

Светит компьютер в ночи,  
будто бы пламень свечи —  
видно, зовет кровосос  
в мир упоительных грёз.

В голубоватый экран  
бьётся людской океан.  
Но, *как спасательный круг,*  
*сжато кольцо твоих рук.*

Есть ли любовь или нет —  
нам не подскажет рассвет.  
Но небольшая беда —  
это не знать никогда.

Птички запели в саду,  
рыбки проснулись в пруду.  
Вот мы уже не одни.  
Спи, моя радость, усни.

\* \* \*

Как обычно, с шести до семи  
по бульвару, что льнёт к переулку,  
человек, не заведший семьи,  
не спеша совершает прогулку.

Он по моде пострижен, побрит  
и спасаем кашне от микробов.  
Но пальто дорогое сборит  
и, сдаётся, не чищена обувь.

О свобода от тягостных уз,  
от житейской рутины и прозы!  
О счастливец, не дующий в ус,  
обожающий метаморфозы!

Он проходит наш бедный сыр-бор  
без малейшей обиды и злости,  
не имея в сей жизни опор  
никаких, кроме собственной трости.

Дни туманней и даль золотей.  
И, усевшись под вянущей ивой,  
на играющих шумно детей  
он взирает с тоскою брезгливой.

Мир прекрасен, не ясен итог.  
И «жигуль» никому не завещан.  
И глядит он, жалея чуток  
всех его не приветивших женщин.

И, поднявшись легко со скамьи  
(благо небо немного поблекло),  
человек, не заведший семьи,  
не спеша направляется в пекло.

\* \* \*

Будут снова мне сниться  
в этой жизни и в той,  
милосердные лица,  
образ женский простой.

И вблизи, и в разлуке  
от чумы и огня  
милосердные руки  
охраняли меня.

И на грани, где ночи  
переходят в рассвет,  
милосердные очи  
мне глядели вослед.

Смерть сулила лобзание,  
но, бесчувствен и пуст,  
вдруг ловил я касание  
милосерднейших уст.

И в районе предсердья  
боль не так уж остра...  
О, сестра милосердья —  
милосердья сестра!

Ты выносишь из ада,  
из распада и тьмы,  
и спасаешь ты брата  
от сумы и тюрьмы.

Словно солнцу над твердью  
до скончанья времён,  
твоему милосердью  
не поставить заслон.

Но причину сей блажи  
сам прошедший Верден  
не постигнул бы даже  
Пьер Тейяр де Шарден.

И прошу я усердно —  
наклонясь у одра,  
будь ко мне милосердна,  
милосердья сестра.

И покуда я в силах  
сжать ладони в горсти,  
за сестёр своих милых  
мне грехи отпусти.

\* \* \*

Этот сумрачный денёк,  
как положено, — проходит.  
А тебе и невдомёк,  
что с тобою происходит.

Этот привкус новизны,  
неизведанный дотолё, —  
чувство тайное вины,  
ощущение неволи.

За собой не помнишь зла!  
Отчего ж, скажи на милость,  
та вода, что утекла,  
через годы просочилась?

Не отчаивайся, брат!  
Не оттягивай расплаты.  
Ты ни в чем не виноват,  
а наверно, виноваты —

холод, молодость, разор  
и закат замоскворецкий,  
и косящий этот взор —  
полуженский, полудетский.

\* \* \*

Какое небо над нами —  
куда ты ни посмотри.  
Дубы шелестят листьями,  
как старые словари.

Шлагбаум, вокзал, пакгауз —  
зачитанная строка.  
Тяжёлые, как Брокгауз,  
ворочаются облака.

Берёза стоит у плёса,  
зелёная, что твой Даль.  
Протяжна, простоволоса  
Евразии близь и даль.

Там в люльке ещё Аттила,  
но есть уже верный слух,  
что мощный заряд тротила  
его услаждает слух.

И молкнет в лесу шишига,  
сова не зовёт птенца...  
Наверное, эта книга  
долистана до конца.

И Бог мычит, как корова,  
и рукописи горят.  
...Вначале было не Слово,  
а клип и видеоряд.

О, дивный мир этот тварный,  
пою тебя и хую,  
хотя мой запас словарный  
давно стремится к нулю.

Но нужен ли слов избыток,  
когда ты предупреждён,  
что небо твоё, как свиток,  
свернётся в конце времён.



\* \* \*

Не разжигается уголь древесный —  
падает с облака дождик отвесный,  
гасит костёр, заливаает мангал,  
жить нам мешает, как римлянам галл.

Мы б возлежали, фиал осушая,  
горлицы кровь оттирал бы с ножа я,  
кесаря чтил, смаковал бы лозу,  
тайно б гражданскую нежил слезу.

Кто мы, откуда? Из лесу, вестимо.  
Нету давно ни волчицы, ни Рима.  
Галл отложился, низложен сенат,  
изгнан Гораций из отчих пенат.

Так и бредём — из России с любовью.  
Дождь обложной по всему Подмоскovieю —  
мочит дороги и точит стога:  
кончился август — и вся недолга.

Вьётся двуглавый орёл над столицей,  
важный выходит из бани патриций,  
«хлеба и зрелищ!» — взывает плебей  
и не проспится Ильич, хоть убей.

\* \* \*

К ночи, когда понесут трепачи  
умные вздоры,  
превозмогая усталость, включи  
ящик Пандоры.

Не донесётся с полуденных стран  
песня Хафиза,  
но без усилий проломит экран  
грудью Анфиса.

И во дворе, где с утра поддавал  
меряя граммы,  
четырёхлетнюю тащит в подвал  
зритель программы.

Будет сулить нам блага имярек,  
ржачку — каналы.  
Се — двадцать первый продвинутый век  
входит в анналы.

Здесь под фанеру вопит педераст,  
млея от страсти,  
и, на иное ничто не горазд,  
ластится к власти.

И, не боясь угодить на скамью,  
сердцем не жёсток,  
не торопясь вырезает семью  
трудный подросток.

Нам растолкуют, что твой Пуаро,  
просто и прытко,  
как проносила, спускаясь в метро,  
бомбу шахидка.

И генерал, что страну известил  
об инциденте,  
не утаит, сколько весил тротил  
в эквиваленте.

...Милая, выруби этот дурдом.  
Дуй за заначкой.  
Или ещё перечти перед сном  
«Даму с собачкой».

\* \* \*

И я молодым да ранним  
нагуливал спесь и стать...  
Но скоро мы все предстанем  
пред Кем предстоит предстать.

Спешат атеист и мистик,  
гуляка и семьянин  
охапку характеристик  
достать из широких штанин.

И думают, что расплата  
замедлится, горяча,  
повесткой из военкомата  
иль справкою от врача.

Учти, говорим, моменты —  
ведь было нам по плечу  
выплачивать алименты  
и ставить Тебе свечу.

Нас можно винить едва ли,  
что жили мы во вражде.  
А если и предавали,  
то разве что по нужде.

Позволь умащаться мирром  
под сенью твоих олив.  
Прими нас, Господи, с миром —  
Ты, Господи, не брезглив.

Не надо нам пьедестала,  
но и не тяжек грех...  
Господь посмотрит устало  
и скажет: «Пустите всех!»

И ринемся мы, толкаясь,  
бесстыдники, райский сброд.  
И глянет Господь, раскаясь,  
и плюнет, и разотрёт.

## ПАМЯТИ ЮРИЯ КАРЯКИНА

Вдоль по Питерской, Питерской,  
        впрочем, скорее, по Перекопской  
дует ветер ненастный — и значит, от осени жлобской  
не спасёт ни бутылка кефира, ни верная Ира,  
ни заначка в зачитанном номере «Нового мира».

Мой ночной собеседник,  
тщеславьем не меньший де Голя,  
растворивший в крови всероссийский запас алкоголя,  
книгочей и строптивец, сумевший Главлит объегорить,  
я бы много отдал, чтобы только с тобою доспорить.

Почему умирают хорошие люди и множатся гниды?  
Над твоим поколеньем устали рыдать аониды.  
Может, нынешний век не подходит ему по дизайну —  
я бы многое дал, если б смог разгадать эту тайну.

Впрочем, в область преданий ночные ушли посиделки.  
Наши жёны, что звались богинями,  
        ныне — всё больше сиделки.  
И небрежные внуки не прочь потрепать наши лавры,  
и для пользы науки кропают статьи бакалавры.

Ты бы в Риме был Брутом,  
        в Афинах — гражданства примером,  
а у нас, если б так повернулось, боюсь, Робеспьером.  
Ты из этого теста, ты норовом в эту породу,  
но судьба, как известно, вслепую тасует колоду.

Зложелатель кремлёвского горца,  
насельник литфондовской дачи,  
ты алкал искупленья, но жизнь рассудила иначе.  
И когда уже мнилось, что явь обнялась с идеалом,  
пустота просияла своим голливудским оскалом.

Ты не явишься мне — ни во сне,  
ни в мерцаньях Таганки,  
мы с тобой не раздавим, что было бы славно, полбанки.  
Я тебя не спрошу, заморочен учёным своим геморроем, —  
как тебе там теперь — визави с нашим общим героем?

Ты меня обошёл,  
я отныне твой вечный завистник.  
На летейских полях по весне зацветает трилистник,  
дует ветер бессмертный, и смертное тащится время,  
и в иссохшую землю ложится бесплодное семя.

Вдоль по Питерской, Витебской,  
далее — по Перекопской,  
прёт свобода нагая с кривою ухмылкой холопской —  
с бодуна ли, с похмелья, в охотку, в любую погоду —  
чтобы в баре блядам подавать ананасную воду.

\* \* \*

Отжевав банальностей мякину,  
наломав немало в жизни дров,  
я, как и положено, покину  
вскоре этот лучший из миров.

И, явившись из-за буераков,  
в чайни бесхозного добра  
пять моих детей от разных браков  
встанут у отцовского одра.

И, в межгалактическую стужу  
уносясь от здешних областей,  
я свою единственную душу  
разломлю на несколько частей.

Нежную, застенчивую с детства —  
как её мне страшно отдавать.  
Но на это скудное наследство  
вряд ли будет кто претендовать.

Скажут по-семейному, без фальши:  
«Ты, папаша, доброго добрей.  
А ни шёл бы ты куда подальше  
вместе с филантропией своей!»

И пойдёт сторонкой, не в обидку,  
жалкие свершая антраша,  
на живую смётанная нитку  
в рай моя бессмертная душа.



\* \* \*

Явится строчка — и сладится всё остальное,  
совесть утихнет, утешится сердце больное,  
будет хотя бы на миг посрамлён сатана —  
только случилась бы, только б явилась она.

Был ли ты счастлив по жизни? Всё это цветочки,  
ибо ничто не сравнится с явлением строчки,  
лишь бы явилась, а там хоть трава не расти —  
можно на лютне играть иль народы пасти.

Впрочем, пока ты, козёл, упражняешься с лютней,  
в граде и мире становится всё бесприютней,  
и удалцы, облачённые в шёлк и виссон,  
тащат в узилище тех, кто не ими пасом.

Пляшет блудница, не путаясь в юбках и шальях,  
пьёт гегемон и апостол скребёт на скрижалях,  
правит правитель (да славится имя его!),  
но, как обычно, — никто никому ничего.

Значит ли это, что дело доходит до точки?  
Может и так, только жди появления строчки —  
в морок и в сумрак, в крошечный распыл и распад.  
Если не явится — будешь во всём виноват.

\* \* \*

Эти поздние стихи  
не исправят положенья.  
Всё же — сделай одолженье,  
их на случай сбереги.

И беда не велика,  
если случай не случится,  
и бумага истончится,  
и — забудется рука.

Не выбрасывай их вон,  
а запрячь без огорчений  
меж квитанций, извещений  
и счетов за телефон.

В этом дружеском кругу  
нет ни лести, ни подвоха —  
ибо здесь верна эпоха  
своему черновику.

...Мы писали, как могли,  
наспех, не перебежали,  
думали, что потеряли,  
а выходит — обрели.

Тёмен смысл, и беден слог,  
и в грамматике небрежность.  
И осталась только нежность —  
безымянно, между строк.

\* \* \*

А дни впереди всё короче  
А тень позади всё длинней.  
И нет ни желанья, ни мочи  
разглядывать, что там за ней.

Ты думал, что ты астероид,  
как свет воссиявший в ночи.  
Но жизнь тебя быстро уроет,  
стучи на неё не стучи.

И совесть тебя до могилы  
преследовать будет, как тать.  
Но нет ни охоты, ни силы  
печальные строки смывать.

Но нет ни ума, ни уменья,  
спасая посмертную честь,  
казаться в глазах поколенья  
и лучше, и чище, чем есть.

Что было — проносится мимо  
и тает в дали голубой.  
И прошлое непоправимо,  
о Господи, даже Тобой.

Я плод Твоего попушенья,  
ввергаемый в этот бедлам.  
Но Мне, — Ты сказал так, — отмщенье,  
и Аз — будь спокоен — воздам.

\* \* \*

*Е. В.*

Люби меня таким, каков  
я есть — иным уже не буду.  
Не замолю своих грехов,  
врагов прощу, но не забуду.

И той вины не искуплю,  
и ни строки не переправлю.  
Кого любил — не разлюблю,  
пустой надежды не оставлю.

Жизнь, промелькнувшая, как блиц,  
такого выдалась замеса,  
что появленье новых лиц  
не представляет интереса.

## **РАЗНЫЕ ГОДЫ**



\* \* \*

На станции выйду случайной.  
Засохший куплю бутерброд.  
В засаленном френче начальник  
печально рукою махнёт.

И, словно бы глас безответный,  
взывающий в ночь, наугад,  
трагический колокол медный  
ударит три раза подряд.

Не так ли для пущей остротки  
в старинном спектакле одном  
вещали о страшной развязке,  
назначенной вышним судом?

...Но дунет ночная остуда,  
ночная зажжётся звезда.  
Я дальше уеду отсюда —  
и вновь не вернусь я сюда.

Ни жизни не жаль мне, ни денег,  
но жаль мне оставленных тут  
вот этих случайных мгновений,  
пронзительных этих минут.

Как будто бы свет этот бледный  
не раз ещё вспомню потом.  
...И колокол, колокол медный.  
И ночь на перроне пустом.

\* \* \*

Ударил дождь по тёмному стеклу,  
сверкнул огонь — и сад мой озарился.  
И я подумал: «Если я умру,  
зачем на белый свет я появился?».

...Шумел мой сад — тяжёлые плоды  
влекло с дерев, и словно бы к истокам  
стремились струи тёмные воды,  
задушенно хрипя, по водостокам.

Я не знавал такого отродясь!  
Но прошлое, представшее воочью,  
внушало мысль, что некто, осердясь,  
меня прибрать задумал этой ночью.

Под стон дубов, что гнулись на ветру,  
под гром небес, взывающих к расплате,  
я так подумал: «Если я умру,  
то это будет очень даже кстати...»

...Но блеск угас, раздался сиплый глас,  
гласил петух — дух умиротворенья,  
и отвращал смущение от нас,  
и прекращал стихий коловращенье.



Сползал туман с очнувшихся берёз,  
стекали капли с листьев бересклета,  
и запах роз, осилив запах гроз,  
казалось, мир сулил нам в это лето.

— Дыши, — шумели ели, — и скажи,  
что, в общем, нет причин для беспокойства  
и что на состояние души  
влияют атмосферные расстройства!

— Всё это так, — твердил я, — это так —  
опять тверды разверзшиеся тверди!  
Но эта ночь, но молнии, но мрак,  
но эти мысли странные — о смерти...

## ПРЕКРАСНОЕ МЕСТО ДЖЕТОГУЗ\*

Что толку разглядывать глобус,  
а лучше — возьми посошок,  
отправься-ка лучше в Джетогуз —  
прекрасное место, дружок!

Прекрасное место — Джетогуз  
у горного вырос ключа.  
Пожалуй, не всякий автобус  
туда доберётся, урча.

И вовсе не всякая птаха,  
а горные только орлы  
салятся, не ведая страха,  
на гордые эти скалы.

Пройди по ущельям зальделым,  
где краски пылают поврозь,  
как будто бы красное с белым,  
желая развязки, сошлось.

Как будто с начала творенья  
незримая чья-то рука  
багровые эти каменья  
поставила здесь на века.

---

\* Джеты Огуз, в просторечии Джетогуз —  
местечко в горах Киргизии.

Недаром в разломах породы  
сквозь гравий, и кварц, и гранит  
сочатся целебные воды —  
приканчивать радикулит.

И хвори выходят наружу,  
и нечего если терять, —  
послушай, не тело, но душу  
поедем туда исцелять!

Джетогоуз — прекрасное место,  
пожалуйста, не возражай.  
Тебе изменила невеста —  
в Джетогоуз скорей поезжай!

В твоей биографии пропуск  
заполнит собой высота.  
Прекрасное место — Джетогоуз!  
...Я зря не поехал туда.

\* \* \*

Без удержу с друзьями пировал.  
Тянул вино из тёмного кувшина...  
Был молод, всё на свете забывал  
за гранью гор — и голову кружила

такая синь, такая вышина,  
такая безысходная свобода,  
как будто бы уже разрешена  
загадка жизни — здесь, у небосвода,

где сладкий от жаровен стлался дым  
и сыр горянка-девочка нам тёрла...  
...Был молод. Был беспечен. Был любим.  
Но — слёзы перехватывали горло.

Застолье от утра и до утра  
уже горчило слабою отравой,  
пока в надежде славы и добра  
ещё добро я смешивал со славой.

Откуда мог я ведать наперёд —  
как дважды два, — что мой черёд настанет:  
придёт прозреньё, женщина уйдёт,  
вино иссякнет, гром небесный грянет!

Не будущее ль с прошлым — баш на баш —  
сошлись тогда, тем утром, в том июне,  
когда так бел и мягок был лаваш,  
так сочен плод, так солнечен сулгуни...

\* \* \*

Если в восемь не буду вставать  
и в двенадцать не буду ложиться,  
мне не выдержать, несдобровать,  
с современниками не ужиться.

Плачут малые дети впотьмах.  
Мне поспать бы чуть-чуть до рассвета!  
Зажигаются окна в домах —  
это тьма отделилась от света.

Но хоть тресну, хоть лягу костью —  
спросит брат, занимаясь зарядкой:  
«Что ты делал с пяти до восьми,  
наклоняясь над чистой тетрадкой?»

Смотрит косо соседская дочь:  
никому не известно заране —  
сочинял ли я фугу всю ночь  
или друга отдал на закланье.

Не отвертишься, как ни крути!  
Рассветает. Взывает сирена.  
Третья стража давно позади.  
Начинается первая смена.

\* \* \*

Никто не провожает проводниц...  
Но в их движенье скрыто постоянство,  
которое, не ведая границ,  
соединяет время и пространство.

Как звёздный свет, летит в ночи вагон —  
и в наши души входит отрешённость.  
Как будто бы распалась связь времён,  
предметов изменилась протяжённость.

Как будто бы какой-то вещей дух,  
что мы в себе несли благоговейно,  
блеснул во тьме и тотчас же потух  
и обратился в формулу Эйнштейна.

\* \* \*

Одно окончилось во мне,  
иное же — не начиналось.  
И жизнь, текущая вовне,  
мне, как во сне, не подчинялась.

Как будто два небытия  
решали, кто из них желанней, —  
был равнодействующей я  
двух этих несуществований.

Я жил, беспечным притворясь.  
Но, как отмщение за что-то,  
моя любовь не удалась,  
не ладилась моя работа.

Судьба, будь благостна иль зла —  
к чему напрасная морока,  
когда со мной ты лишь мила,  
но не добра и не жестока.

Так женщина, потупив взор,  
в извечной жажде постоянства  
не просит, чтобы ты ушёл,  
но и не просит, чтоб остался.

...И как-то раз среди гостей,  
в одной компании случайной  
со мной творящихся вещей  
я понял смысл необычайный.

Я понял: пан или пропал! —  
в тот миг, когда не без боренья  
сменялся юности запал  
стремленьем самоосмысленья.

...Явиться заново на свет,  
согласно давнему присловью,  
что люди — каждые семь лет —  
иные — обликом и кровью!

Тону в воде, горю в огне,  
сжимаюсь, будто бы пружина.  
Но суть моя сидит во мне  
Недвижно и несокруσιμο.

Я снова становлюсь собой,  
как после немощи бесплодной:  
не скиф с горячей головой,  
но схимник — с ясной и холодной.

В кругу аскетов и гулён,  
усевшись намертво на стуле,  
я словно бы заговорён  
от наговора и от пули.

И, как впервые на войне,  
я привыкаю понемногу.  
Одно окончилось во мне.  
И — слава богу. Слава богу.



\* \* \*

Жить одному в запущенной квартире  
и с каждым днём яснее понимать:  
как ни крути, а дважды два — четыре.  
Чему бывать — того не миновать.

Но стоит ли печалиться об этом!  
Не лучше ли — с наивностью юнца  
жалеть героя, плакать над сюжетом  
и ожидать счастливого конца.

Стучат часы, бормочет отопление,  
похолодало — дело к январю.  
...И ты войдёшь, прекрасное творенье, —  
и не поймёшь, о чём я говорю.

\* \* \*

Мне, городскому жителю, чудно  
проснуться ночью в деревянном доме,  
услышать ветер, шарящий в соломе,  
рукой нащупать жёсткое рядно.

Узреть огонь, мерцающий в печи,  
увидеть печь, белеющую сиром,  
и, как речам совсем иного мира,  
внимать тревожным шорохам в ночи.

Но что мне удивительней всего —  
вдруг ощутить неясно меж собою  
и этой незнакомою избою  
забытое, щемящее родство.

Как будто бы какая-то беда  
меня гнетёт — и мнится виновато,  
что здесь я жил и чувствовал когда-то,  
запомнил только вот — когда...

\* \* \*

За околицей, возле оврага  
на исходе июльского дня  
обступили мальчишки конягу —  
пожилого гнедого коня.

Он вздыхал тяжело и смиренно,  
обречённый судьбой на убой,  
и клочки прошлогоднего сена  
брал с ладоней шершавой губой.

...Я припомнил, как, многое знача,  
на Арбате, где нет лошадей,  
магазинная старая кляча  
восхищала окрестных детей.

Неказистая, тощая, в мыле,  
с лошадиной своею тоской.  
Мы её, как умели, кормили  
невесёлой травой городской.

...А теперь вот — совсем неретиво  
далеко-далеко от Москвы  
ты стоишь, как какое-то диво,  
и тебе не сносить головы!

Вывозивший не раз государство,  
отступающий тихо во мглу,  
представитель животного царства,  
что ни к городу и ни к селу...

\* \* \*

Сгребают сено косари,  
шуруя граблями согласно.  
Прекрасна жизнь! — Не говори —  
она воистину прекрасна!

Прекрасна жизнь! Не обессудь,  
что это так, а не иначе.  
И если уж не в этом суть,  
то и не в том она тем паче.

...Когда прольётся свет ночной  
над миром, родиной и домом,  
над стороной твоей родной,  
над краем, сызмальства знакомым, —

прислушайся, вдыхая всей  
душою горький дух покосов,  
и есть ли счастье в жизни сей,  
не задавай себе вопросов.

\* \* \*

Как зверь породы странной и чудной,  
на зилковском своём велосипеде  
я вновь въезжаю в этот лес ночной,  
где спят ежи, а может и медведи.

Дрожит луна в изогнутом руле,  
и, затерявшись в елях и берёзах,  
как старый конь, трусит по колее  
мой вездеход на двух своих колёсах.

И духи остывающей земли  
над ней парят, не ведая покоя,  
как будто хочет ландыш или хвоя  
вдохнуть в нас души слабые свои.

Среди доисторических болот  
скольжу я, нажимая на педали, —  
и хоть скрипят отдельные детали,  
мой Росинант меня не подведёт!

...Мне не везло! Но мерк вечерний свет,  
смуцал сосед цыганскою гитарой,  
и мой наперсник — мой велосипед —  
кивал своей задумчивою фарой.

И, не желая больше ничего,  
я на него влезал без суесловья  
и гнал вперёд безжалостно его  
сквозь гаснущие рощи Подмосковья.

Не так ли — удалённый от столиц  
за дерзкий нрав — какой-то князь ослушный  
сучал в глуши, травил в лесах лисиц  
и заводил английские конюшни.

И часто, от внезапного огня  
забывшись, занесясь, заколобродя,  
кричал с крыльца: «Коня, — в сердцах, — коня!»  
и мчал, как дьявол, отпустив поводья.

Но я-то — я-то вовсе и не князь —  
не с тем, как говорится, капиталом.  
И, на нехитрой технике трясясь,  
вполне готов довольствоваться малым.

По листьям, травам, ягодам, росе  
качу, петляя в полунощных чащах,  
на шум машин, на вечный гул шоссе,  
на блеск огней, как призраки летящих, —

туда, где от природы неживой  
природа отграничена живая  
и, словно круг, очерченный судьбой,  
пронзает ночь дорога кольцевая...

\* \* \*

Кричат мальчишки: «Дядя, прокати!»,  
когда я еду на велосипеде.  
Вожатая им сетует: «Ах, дети,  
себя вы не умеете вести!»

Вот я и дядя... Молодости льстя,  
разбойных пацанов вожу на раме.  
И почему-то думаю о маме,  
о том, что сам давно уж не дитя.

Как это всё же здорово, ей-ей,  
когда, тебе счастливо доверяясь,  
сидит пацан и, за тебя цепляясь,  
несмело просит: «Дядя, поскорей!»

Мне поскорей нетрудно. Я нажму.  
Ещё я молод вроде бы и в силе.  
Ещё я помню, как меня возили, —  
и честно постараюсь потому.

Я не был первым парнем на селе —  
в моём селе — в моём Замоскворечье,  
но в те года, которые далече,  
себя я крепче чувствовал в седле.

...Приехали. Слезай-ка, милый мой.  
Он просто говорит: «Спасибо, дядя».  
И, понапрасну времени не тратя,  
к своим собратьям чешет по прямой.

А я пушусь по своему пути,  
не находя резонного ответа —  
кому из нас двоих нужней вот это  
ликующее: «Дядя, прокати!»



\* \* \*

*Памяти родителей*

Ты гнал, губитель мой прелестный,  
ты даже не притормозил.  
И сразу свет померк небесный  
и свет вечерний засквозил.

Я взмыл без видимых отметин  
среди бензиновых паров —  
уже фактически бессмертен,  
ещё практически здоров.

И ангел в облаке пунцовом  
уже склонялся надо мной —  
там, на шоссе, за Одинцовом,  
у поворота в мир иной.

...Я покидал вас без печали,  
в беспомысленстве, не помня зла.  
Но душу слабую держали  
отец и мать — за два крыла.

Они вцепились, как умели,  
не разбирая — что зачем.  
И тем душа держалась в теле,  
и больше, кажется, ничем.

И если б даже без оглядки  
она отправилась туда,  
то след от этой мёртвой хватки  
с неё не стёрся б никогда.

\* \* \*

Сбила «Волга» велосипедиста.  
Он уткнулся, велосипедист,  
возле развесёлого горниста.  
Но безмолвен гипсовый горнист.

Он глаза незрячие не скосит,  
не сыграет коротко отбой,  
не нагнётся тихо и не спросит:  
«Жив ли ты, приятель? Что с тобой?»

Сбила «Волга» велосипедиста  
и умчалась дальше без следа.  
...Видит он весёлого горниста —  
слышит трубы Страшного суда.

Много ль ему надо или мало —  
он не знает этого и сам.  
Боль утихла. Юность миновала.  
Жизнь переломилась пополам.

\* \* \*

*Борису Слуцкому*

Наконец-то придумали, как извести нерво-  
трёпку, —  
и дорожных рабочих одели в оранжевый  
цвет.

Жми на тормоз, шофёр!

Машинист, притуши свою топку —  
хода нет!

Пусть ландшафт проиграет от грубости этих  
отметин.

Человек на дороге — и если душой не кри-  
вить,

он болезнен и смертен,

и, может, он мало за-

метен,

но отсюда не следует, что его надо давить!

Я бы каждому выдал по жёлтому комбинезо-  
ну —

чтобы в лето и в зиму, горящий меж мёртвых  
планет,

не исчез этот свет, обводящий запретную  
зону,

этот невыносимый,

слепащий,

оранжевый

цвет.

\* \* \*

Названия московских мест  
для моего привычны слуха,  
как для иных привычен лес,  
и ливня плеск, и шорох луга.

Огней московских перехлёт  
до моего доходит зренья,  
как до иных — мерцанье звёзд  
над крайней улицей селенья.

Прости, родная сторона,  
что я меж новыми домами  
старинных улиц имена  
твержу застывшими губами.

Пусть всё останется как есть.  
Но мне с московского наречья  
в иную речь не перевести  
немую речь Замоскворечья.

\* \* \*

За всё заплачено сторицей.  
...Не оттого ли день-деньской  
ты жадно бродишь по столице,  
обычный житель городской.

О чём — на радость иль на горе —  
ты вспоминал в чужой дали —  
в краю снегов, в пустынном море  
и в мрачных пропастях земли,

когда судьба тебя ломала  
и, словно так заведено,  
всё, что не к делу, отступало,  
и оставалось лишь одно:

последних листьев позолота,  
глоток осенней синевы,  
и вы, Никитские ворота,  
и вы, Сокольники, и вы...

Да иногда — в лепных наростах  
у Чистых, кажется, прудов  
тот дом постройки девяностых\*  
ничем не памятных годов.

---

\* Разумеется, XIX столетия.

\* \* \*

Сойди у Покровских ворот.  
Стучи в те ворота, не медли!  
Но даже и ржавые петли  
не скрипнут Покровских ворот.

По Марьиной роще броди —  
ни Марьи давно там, ни рощи!  
Но жить не становится проще  
от этого, как ни крути.

И праздные вязы цветут  
от века до века — всё реже,  
и царские кони в Манеже  
не рвут коновязей, не ржут.

Но что невзначай ни задень —  
всё это неверно двоится.  
И властно ложится на лица  
какая-то странная тень.

И круто берёт в оборот  
тот ветер, что дует всё жёстче  
на просеках Марьиной рощи,  
в пролётах Покровских ворот.

\* \* \*

...И овцы, что пасутся на лугах,  
и к озеру клонящаяся ива,  
и пастухи с желейками в руках,  
и с каждым днём тучнеющая нива,

и эта тишь, и эта благодать —  
красоты буколического рода —  
все эти кущи местные подстать  
эпохе безмятежной Гесиода.

Тем временам мечтательным, когда  
под сенью струй, в зелёных пятнах ряски  
стояла в шлеме бронзовом вода,  
как ныне в той пробитой пулей каске...



\* \* \*

Все думали, что с Гитлером война  
продолжится не годы, а недели.  
И, сев у затемнённого окна,  
с надеждой в репродукторы глядели.

Как будто возвестить мог Левитан,  
что, накопив войска свои поодаль,  
мы совершили яростный таран  
и прорвались на Вислу и на Одер.

И что часы фашистов сочтены  
и в Руре пролетарии восстали...  
Но мы уже оставили Ромны  
и к Харькову с боями отступали.

И мать моя, беременная мной,  
не ожидая помощи Европы,  
по выходным копала под Москвой  
крутые, полных профилей окопы.

\* \* \*

*Александру Межирову*

Октябрь сорок первого года.  
Патруль по Арбату идёт.  
И нет на вокзалы прохода.  
И немец стоит у ворот.

За два перехода до Химок,  
сглотнув торжествующий вопль,  
фон Бок, словно делая снимок,  
навёл на столицу бинокль.

А что же столица? Столица  
глядит тяжело и темно,  
как будто всех жителей лица  
столица сплотила в одно.

Бредут от застав погорельцы,  
в метро голосят малыши,  
и вбиты железные рельсы  
крест-накрест во все рубежи.

Нестройно поёт ополченье,  
соседи дежурят в черёд,  
и странное в небе свеченье  
заснуть никому не даёт.

...Но, смену всемирных коллизий  
приблизив незримой рукой,  
пехота сибирских дивизий  
грядёт, как судьба, по Тверской.

Но знает у ржевского леса  
стоящая насмерть родня,  
что в доме напротив МОГЭСа  
к весне ожидают меня.

Меня прикрывает столица,  
меня накрывает беда.  
И срок мой приходит — родиться  
теперь — иль уже никогда.

Бьют пушки, колеблются своды —  
и время являться на свет!  
Октябрь сорок первого года.  
Назад отступления нет.

\* \* \*

За пять минут до битвы Курской,  
как водится, в тени ветвей,  
на полосе ничейной, узкой  
шальной защёлкал соловей.

За пять минут до канонады,  
в лесу, на линии огня,  
он выводил свои рулады,  
в ночи отчаянно звеня.

Но бог войны, тоской объятый,  
с азартом сумрачным в крови  
воскликнул: «Чур, певец проклятый,  
певец небес, певец любви!».

И пушки грянули. И с тыла  
рванулись танки на простор.  
...И в мире стало всё как было,  
как всё в нём было до сих пор.

\* \* \*

О чём парашютист подумал,  
когда, рванувши за кольцо,  
раскрыл качающийся купол  
и к звёздам обратил лицо?

Он ощутил, суровый практик,  
он всю плотью проследил  
полёт пылающих галактик,  
восход блуждающих светил.

Но потрясённое сознание  
не оценило ничего —  
ни дикой мощи мироздания,  
ни всей гармонии его.

Об этом думал он едва ли,  
влекомый к суетной земле,  
где избы сумрачно пылали  
в его поруганном селе.

\* \* \*

Воспряну ото сна,  
откину одеяло.  
Окончилась война,  
а мне и дела мало!

И только об одном  
жалею в те минуты —  
что смолкли за окном  
победные салюты.

И, выровняв штыки,  
идут без остановки  
геройские полки  
по улице Ольховке.

Ах, мама, ордена  
какие у танкиста!  
Ну почему война  
закончилась так быстро?..

\* \* \*

Пальцецо поскорей натяну —  
и туда, где братва боевая  
беззаветно играет в войну,  
пулемёты собой закрывая.

Как заснежены наши дворы!  
Как парадные наши притихли!  
Мы подвижники этой игры —  
взрослых игр мы ещё не постигли.

Я на снег упаду, не темня,  
чтоб, спасая от верной могилы,  
выносила меня из огня  
Танька Бушина с третьей квартиры.

Как эффектно мы падаем ниц,  
принимая геройские позы!  
...Но стекают у Таньки с ресниц  
настоящие горькие слёзы.

И как мать, наклоняясь сквозь дым  
ко своим же погодкам-ребятам,  
она плачет по нас — молодым,  
холостым непутёвым солдатам.

Танька Бушина плачет по нас!  
Но, отбросив пустые сомненья,  
с овощных засекреченных баз  
мы на Балчуг идём в наступленье.

Мы дойдём, как до Эльбы самой,  
до Канавы в ограде щербатой...  
Это, видимо, сорок восьмой...  
или, может быть, сорок девятый.

Он пройти стороной норовит,  
но в какой-то неясной тревоге,  
надрываясь, кричит паровик  
на Казанской железной дороге.

Белый сквер на Ордынке раздет,  
и деревья прозрачны и сини.  
...Мы ещё не читаем газет.  
Телевизоров нет и в помине.



## ЗИМА 1953 ГОДА

В бледные окна сочится рассвет.  
Сны угасают — и сходят на нет.

Сизой позёмкою занесены  
послевоенные долгие сны.

Как бы в последнее впав забытьё,  
видят сограждане: каждый — своё.

Видит скрипач Копелевич к утру  
дочь, погребённую в Бабьем Яру.

Видит Вахитова, наш управдом,  
мужа, убитого в сорок втором.

Видит Сабуров, слепой гражданин,  
бой за Проскуров и бой за Берлин.

...Первый по рельсам скрежещет вагон.  
Поздние сны улетают вдогон.

Тонут в снегу проходные дворы —  
как проходные в иные миры.

О коммунальная юность моя!  
Всё возвратится на круги своя.

Запах побелки и запах борщей.  
И не безделки — в основе вещей.

Что поколеблет, а что упадёт?  
Дело не терпит и время не ждёт.

...Дым поднимается к небу прямой.  
Семь поднимаются хмурых семей.

Семь керогазов на кухне горят,  
хлопают двери и краны хрипят.

Хлопают двери — и, сон поборов,  
семь в унисон голоса рупоров.

Бодро внушает нам бодрая речь  
бёдра поставить на уровне плеч.

Преподаватель Гордеев не зря  
будит Россию ни свет ни заря.

\* \* \*

Ленинградская девочка Лена,  
год рождения — сорок второй.  
...Интуристы берут непременно  
бутерброды с зернистой икрой.

У тебя всё, как видно, в порядке,  
никаких потрясений в судьбе.  
Элегантна, как все ленинградки,  
и красива — сама по себе.

И, спускаясь ко трапезе ранней  
развесёлой такую гурьбой,  
остряки из обеих Германий  
одинаково шутят с тобой.

И ничуть никого не заботит,  
как, поставив еду и питьё,  
ты украдкою, словно наркотик,  
вновь глотаешь лекарство своё.

Но когда, леденя от боли,  
ты идёшь, запахнув пальтецо,  
бог войны, что на Марсовом поле,  
отвращает в смятенье лицо.

Из Аида — из мрака и тлена  
тянет ветер — блокадный, сырой.  
...Ленинградская девочка Лена,  
год рождения — сорок второй.

\* \* \*

Стояла великая сушь.  
Мелели озера и реки.  
И птицы, казалось, навеки  
замолкли, лишённые душ.

И свет помутился живой.  
И небо подернулось хмарью.  
И дымом тянуло и гарью:  
горели леса под Москвой.

Старухи сидели в тени.  
И мирным прогнозам погоды,  
как сводкам в военные годы,  
сурово внимали они.

О чём возвещает набат,  
что помним и кто мы такие,  
когда даже силы стихии  
в нас давнюю боль бередают!

Когда даже в эти часы  
нам чудится что-то иное.  
И тихое небо ночное  
пронизано гулом грозы.

\* \* \*

Тень самолёта в озёрной воде  
напоминает о давней беде.

Гул самолёта в озёрной тиши  
к чёрным протокам пригнул камыши.

Тень полоснула по жёлтому дну —  
умная рыба ушла в глубину.

Тень покачнулась, на лес налетев, —  
хриплые птицы взлетели с дерев.

Ропот в природе пронёсся и стих —  
что-то напутал звериный инстинкт.

Но наконец среди обжитых мест  
лёг на дорогу распластанный крест.

...Старый водитель, взглянув в небеса,  
жмёт машинально на все тормоза...

\* \* \*

Мой старший брат, по званию капитан,  
домой приехал в краткосрочный отпуск.  
И, как семейства долгожданный отпрыск,  
был отдыхать уложен на диван.

Всё утро мы ходили на носках,  
а брат проснулся и, бродя меж грядок,  
всё повторял сконфуженно: «Порядок!  
Порядок, братцы, в танковых войсках!»

Три дня мой брат терпел и отдыхал,  
а на четвёртый, вставши спозаранку,  
мой брат, как трактор, двинул на делянку,  
окучил что-то, что-то окопал.

Затем, как видно, он вошёл во вкус:  
косил траву, носил навоз и воду,  
и, проявив хозяйскую природу,  
прибил в сарае отлетевший брус.

И делая всё с толком, не спеша,  
он брал ромашки, усмехаясь малость.  
Как будто бы давно истосковалась  
по красоте военная душа.

Мой брат, он любит сад и огород.  
Но я отлично понимаю брата,  
когда он вдруг садовую лопату,  
забывшись, как сапёрную берёт.

## ЧИЖИК-ПЫЖИК

*Святославу Бэлзе*

— Чижик-пыжик, где ты был?  
— На Фонтанке водку пил.

Что ты делал на Фонтанке,  
чижик-пыжик, дорогой?  
Будто с праздничной гулянки  
брёл ты вечером домой.  
И над улицей зелёной,  
над разлётами стропил  
плыл мотивчик немудрёный —  
чижик-пыжик, где ты был?

...Мне, дошкольнику не спится:  
закрутилась карусель.  
Чижик-пыжик, что за птица —  
то ли птица, то ли зверь?  
Чай пила родня солидно  
и рекла: годам к шести  
виртуоза-вундеркинда  
из меня произвести.

Я, пожалуй, был не против  
(и не против до сих пор!)  
взять на радость дядям-тётям  
до-минор и до-мажор!

Лет за сорок — коли знать бы! —  
дед мой, с бабушкою мил,  
безрассудно ей на свадьбу  
пианино подарил.

Сорок лет оно молчало  
не смущало ни души.  
Только бабушка ворчала,  
вытирая клавиши.  
Но по злomu вероломству  
в сей решительный момент  
стал клеймом всему потомству  
это дивный инструмент.

...Я сижу среди народа,  
как невеста под венцом.  
Но для вящей славы рода  
не ударю в грязь лицом!  
Я играю — землю рою,  
аж захватывает дух!  
Но родителям на горе —  
я, как пень еловый, глух.  
Мне ни капельки не светит,  
хоть весь день его грызи,  
пианино фирмы «Беттинг» —  
до, ре, ми, фа, соль, ля, си!

Я, любитель умных книжек,  
зря лишь мучаю его:  
— Чижик-пыжик, чижик-пыжик, —  
ну а больше ничего.



— Чижик-пыжик, чижик-пыжик,  
кукареку-кукаре! —  
миллион мальчишек рыжих  
возглашают во дворе.  
И — сама неблагодарность! —  
от досады вопия,  
«Безнадёжная бездарность!» —  
дружно плюнула семья.

...Я живу, в стихи зарывшись,  
бóльших выгод не ищу.  
И лишь изредка, забывшись,  
«чижик-пыжик» просвищу.  
Но порою из-под спуда  
что-то стронется в груди.  
Будто худо мне без чуда,  
что осталось позади.  
Это вроде б сантименты,  
но, как жданный уют,  
вдруг такие инструменты  
в наших душах запоют!

И над нами, над морями,  
сотрясая рай и ад,  
с распростёртыми крылами  
мощно демоны парят.  
И, неистовствуя немо,  
в разверзающийся мрак  
вдруг обрушивает небо  
обезумевший Геракл.

И умру я, час неровен,  
на развалинах сонат,  
где беснуется Бетховен  
богоравен и космат.

...Но недаром в дымке дальней  
у начала всех начал  
вдруг мальчишка гениальный  
«чижик-пыжик» промычал.  
Он застыл среди мальчишек,  
набок голову склонил.  
— Чижик-пыжик, чижик-пыжик,  
чижик-пыжик, где ты был?

— Чижик-пыжик, где ты был?  
— На Фонтанке водку пил.

\* \* \*

Железноводска ржавая вода,  
железная вода Железноводска —  
в железе неизбежная нужда  
у наших душ с избыточностью воска!

Ни в голосе металла, ни в любви,  
и не являет розовость пореза  
железа, осаждённого в крови:  
что делать — век окончился железа!

Пока вздымает чаши тамада  
и вводит в грех безумный дух духанов,  
мы пьём тебя, железная вода,  
из полиэтиленовых стаканов.

Как будто бы в сумятице мирской  
нам суждено вдруг с жаром безнадежным  
сразить врага железною рукой,  
сжать женщину объятием железным.

\* \* \*

Ничего, ничего, потерпи, —  
ты себе повторяешь всё чаще,  
пропадая в молчащей степи,  
ко груди припадая скорбящей.

Ты не ведал, желая вериг,  
чем грозит это предназначенье!  
А ничтожен ты или велик —  
не имеет отныне значенья.

Зашумят ли грибные дожди,  
застучат ли железные грады,  
ниоткуда подмоги не жди,  
ниоткуда не жди ты пощады.

Не пеняй в нелюдимом краю,  
что тебе этот жребий завещан.  
Не надейся на славу свою,  
на любовь неразумную женщин.

...Но, угрюмо сжигая мосты,  
ты всё громче стучишься у входа.  
И давно уж не веруешь ты  
в это лживое слово — «свобода».

\* \* \*

Последние листья хмельные,  
скользя, облетают на лёд,  
...А мы-то? Мы тоже иные —  
сам чёрт нас теперь не возьмёт!

Восславим ненастную осень,  
а красное лето — прощай!  
Поставим будильник на восемь,  
задумаемся невзначай —

о доле, о тучах на небе,  
что сеют смущенье в умах,  
а лучшее — о доме, о хлебе,  
о тёплых вещах, о дровах,

о сути чудес изначальных,  
о листьях, летящих в ладонь,  
о старых — как люди, печальных —  
собаках, глядящих в огонь.

Кочуя, как грешные души,  
суровые птицы кричат.  
И, чуя безбрежные стужи,  
багровые гроздья горчат.

И мы, не идя на уступки,  
всё больше — себе на уме.  
И главные наши поступки  
всё больше подвластны зиме.

Как будто приблизились сроки —  
и нам разобраться пора,  
напрасны ли эти уроки,  
опасны ли эти утра.

\* \* \*

Но пробужденье добрых чувств  
не безнадёжное искусство.  
Отчаюсь. Мучаюсь. Учусь.  
И всё же — пробуждаю чувства.

Как у огня, в иные дни  
у этих чувств живу и греюсь.  
Не знаю — добрые ль они.  
Отчаюсь. Мучаюсь. Надеюсь.

\* \* \*

Мои друзья, вы правы тыщу раз:  
я был достоин и хулы и кары!  
И ваши справедливые удары  
отнюдь не в бровь мне метили, а в глаз.

Я принимал подобный ход вещей:  
в себе я нечто чувствовал, что было  
куда важнее и моих речей,  
и вашего блистательного пыла...



\* \* \*

Я не поддался этой свистопляске,  
не разменял замкнувшейся души,  
пока, напялив ревностные маски,  
шаманствовали шустрые мужи.

Временщики, рубахи-парни, маги —  
они поднаторели в ворожбе.  
Они пеклись, казалось бы, о благе,  
ничуть не помышляя о себе.

Но, оценив их чистое величье,  
я с подозреньем тягостным в душе  
вдруг различал глухое безразличье  
под этим смехом из папье-маше!

И как бы оказавшийся у края,  
где искушал заносчиво судьбу,  
я долго озирался, оттирая  
холодный пот, струившийся по лбу...

\* \* \*

Засохла в огороде бузина,  
и умер дядька в Киеве — и ныне  
такие наступили времена,  
каких давно уж не было в помине!

Как будто так теперь заведено  
до самого скончания земного —  
с угрюмой неизбежностью одно  
логично вытекает из другого.

И наконец-то связаны концы,  
увязаны научные системы,  
чтоб больше неразумные юнцы  
не ставили безумные проблемы.

Дабы они не мучились без сна,  
когда, противясь собственной природе,  
цветет необъяснимо бузина  
у киевского дядьки в огороде!..

\* \* \*

Скорей, скорей, пока горит душа  
и сердце в силах чувствовать и верить —  
бесхитростно, сбиваясь и спеша,  
чужой душе открыться, ей доверить

всё, что в тебе одном затаено,  
и лишь к твоим причислено печалям,  
и лишь с тобой одним обречено  
покинуть свет; а ты уж и не чаял,

с собою затворясь, наедине,  
как на духу, без всякого притворства  
чужой душе довериться вполне  
по мстительным законам стихотворства,

когда, глаголя, собственную весть,  
которая и мёртвого разбудит,  
ты весь как на ладони, весь как есть,  
а после — будь что будет, будь, что будет...

\* \* \*

Июнь. Подошли сенокосы.  
Земля в тополиной пыли.  
Прощайте, бумажные розы, —  
живые уже расцвели.

Рассейтесь, напрасные страхи, —  
пребудем до зимней поры  
беспечны, как вольные птахи,  
как мудрые змии — мудры.

Прощай, нелюбимое дело, —  
любимое дело — любись!  
Душа, что молчала, не пела,  
сквозь тело легко засветись!

...А ты, что сама как подобье  
того же скупого огня,  
хоть искоса, хоть исподлобья,  
хоть мельком — взгляни на меня.

\* \* \*

Приметы средней полосы —  
её осины и берёзы,  
её неброские красы —  
тихи, задумчивы, тверёзы.

Там дуб склонился над водой,  
а там ольшаник или ельник.  
А там — малинник, сухостой...  
...Постой, а где же старый мельник?

Где добрый мельник — голова  
белым-бела и брови белы!  
Куда девал он жернова,  
перетиравшие все беды?

Лишь птица вещая кричит,  
да жарит зной, да жалит овод,  
да зачарованно молчит  
в бору дремучем тёмный омут.

Как будто всё уж решено,  
и мир царит во человеках,  
и перемолото зерно,  
и вся мука давно в сусеках...

\* \* \*

Ты говоришь, что книжная культура —  
лишь мёртвый слепок. Но представь на миг:  
как сон, исчезла вдруг литература —  
нет больше ни писателей, ни книг!

Ну что ж, начнём... Отбросим тривиальность.  
Из сочинённых вырвемся оков.  
Гомеровская книжная реальность,  
уйди обратно в сумерки веков!

Вкусим плодов от истинного древа.  
Освободим сознание от химер!  
Посмотрим: жизнь — направо, жизнь — налево.  
...Но слепы мы. Но зряч старик Гомер...

\* \* \*

Эти запахи талых снегов,  
эти настезь раскрытые окна  
и летящих на юг облаков  
чуть размытые синью волокна.

Как бродяг, под небесную сень  
нас влечёт из читален и спален.  
Но наводит лишь тень на плетень  
этот день, что почти нереален.

Потому что никак не поймёшь  
ты в его удивительном свете,  
как давно ты на свете живёшь  
и живёшь ли вообще ты на свете.

Этот день, что горит словно медь,  
для тебя как вторая попытка  
вновь родиться и вновь умереть  
от свободы и счастья избытка.

\* \* \*

От мыслей невольных,  
недетских каких-то невзгод  
нахмурился школьник,  
печально травинку грызёт.

Горька ли травинка,  
течение ль дел таково,  
но эта заминка,  
как видно, смущает его.

Неглупые люди,  
его убеждаем мы вновь,  
что всё ещё будет —  
ещё и любовь не любовь.

Но с видом угрюмым,  
чураясь обычных проказ,  
он думает думу  
и вовсе не слушает нас.

И эти мытарства,  
что вроде бы не по уму,  
как будто лекарства  
на первые раны ему...



\* \* \*

Я в сумерках ранних спешил  
на зов электрички истошный  
по снегу, что запорошил  
посёлок железнодорожный.

Холодные тучи неслись!  
Как вдруг впереди у разъезда  
ударил в хмурую высь  
нестройные звуки оркестра.

О вечности пела труба,  
пока, припадая к сугробам,  
сограждан скупая толпа  
ступала за крашеным гробом.

И музыки сладкий обман  
сквозь вой пробивался метели —  
где адом грозил барабан,  
литавры о рае гремели.

Ну что мне чужая родня  
и смертная доля чужая!  
Я молод, ждёт поезд меня,  
в иные края поспешая.

И всё же, пока этот снег  
летит над землёю печальной,  
смиряет свой суетный бег  
усопшего спутник случайный.

Его электричка гудит,  
а он обо всём забывает,  
и как бы в смущенье твердит,  
что всякое в жизни бывает...

\* \* \*

Наставник нашей юности, кумир  
аудиторий, баловень подмоштов,  
не менее известный, чем Шекспир  
(а может быть — и более!), в подростках  
будящий мысли некие, во зло  
вонзающий гражданственное око, —  
да-да, конечно! Всё это прошло.  
Мы нынче смотрим трезво и жестоко.

Обрядом, совершённым впопыхах,  
по горло сыт! Не пребываю верен.  
Но в отроческих каяться грехах  
на площади базарной — не намерен.  
Всего хватало: благости и зла,  
браводы и пророческого пыла.  
Но жизнь была. И молодость была.  
И — правда жгла. И что-то в этом было.

\* \* \*

Высокомерие храня  
в одном закончившемся споре,  
ты имитатором меня  
назвал в критическом задоре.

Ну что ж! Подобные грехи  
я счёл заслугами своими.  
Я сымитировал стихи —  
и вы заплакали над ними.

Стараясь из последних сил,  
меняя маски и личины,  
страданье я изобразил —  
мой лоб прорезали морщины.

И, губы разбивая в кровь,  
следы размазывая грима,  
я сымитировал любовь —  
она была неотличима!

Как будто собственной судьбой  
платил для пущего подвоха.  
Ты прав, румяный критик мой:  
я это выдумал неплохо.

\* \* \*

Солдаты потешных полков  
играют в потешные игры.  
Летят от железных подков  
цветные потешные искры.

Потешного ботика борт  
и кубки с потешною брагой.  
И машет отважно Лефорт  
своею потешною шпагой.

Греми, барабан — и допрежь  
не стихнет в ушах самодержца  
вся прежняя музыка, — режь! —  
потешь государево сердце.

Покуда на стыке веков  
не вбиты кровавые вехи,  
солдаты потешных полков  
лихой предаются потехе.

Потешные пушки палят.  
И, как на Руси уж ведётся, —  
ещё никому невдогад,  
как всё это ей обернётся.

\* \* \*

Тома старинные «ин кварто»,  
тиснённый золотом бордю,  
и резкий профиль Бонапарта,  
и строгость глянцевого гравю.

Дымы картечные вьются!  
Зовёт к оружию набат!  
Эпоха войн и революций  
в альбомный втиснута формат.

Пускай стоит у гильотины  
король, подъемлющий персты, —  
типографы невозмутимы:  
ясны их стройные шрифты.

О знаки, полные отваги!  
...Но нам усвоить довелось  
язык обёрточной бумаги  
с декретами и вкривь и вкось.

И те огромные, вполнеба,  
плакаты страшной вышины,  
где все подробности нелепы,  
но все пропорции — верны.

## НАД СТАРОЙ ОЛЕОГРАФИЕЙ

Опять солдаткам не утешиться,  
и, проклиная чужаков,  
опять брести усталым беженцам  
вдоль всех российских большаков.

Со стариками и с младенцами,  
как в дни нашествия Орды.  
...Кружат над стенами смоленскими  
Наполеоновы орлы.

Кружат орлы непобедимые  
над Вязьмой медленно и зло.  
...Но всходит солнце бородинское,  
как раскалённое ядро.

Красуясь белыми рейтузами,  
шагает гвардия в огонь.  
И под фельдмаршалом Кутузовым  
мужицкий всхрапывает конь.

## ЧААДАЕВ

Задуть заплывшую свечу,  
закреть Жан-Жака, чертыхнуться  
и в щёгольскую епанчу,  
мрачней, глубже запахнуться.

Внизу шумят наперебой,  
и пляшут блики на лосинах,  
и звон стекла, и, боже мой,  
нельзя ж так врать на клавесинах!

Но что, по правде говоря,  
взять с этих жалких рестораций,  
где мечут банк фельдъегеря  
в потугах тщетных — отыгаться.

Что ждать от сумрачной страны —  
альянса блудного с Востоком —  
в тенётах рабской тишины,  
в сём небрежении жестоком!

Что проку — гласно, напролом,  
явив предерзостную вольность,  
философическим пером  
зло уязвить благопристойность!



Оставь — и Бога не гневи!  
У нас не жалуют витийства,  
у нас в медлительной крови  
отравный привкус византийства.

Не проща ль — жертвою страстей  
вкусить забвенья и бесславья  
вдали от бдения властей,  
народности и православья.

И, озирая долгий ряд  
друзей опальных и казнённых,  
бежать куда глаза глядят  
от глаз участливо-казнённых.

...Но разве есть еще одна  
с такими ж скорбными очами —  
Россия, горькая страна,  
отчизна веры и печали.

И разве сгинули как дым  
мятежной юности призывы:  
«Пока свободою горим,  
пока сердца для чести живы...»

\* \* \*

В старинном доме на Волхонке  
под мощной лепкой потолков,  
как на одесской барахолке, —  
рай для детей и чудаков!

Весьма таинственного рода  
здесь дремлют вещи по углам,  
где тускло брезжит позолота  
часов, подсвечников и рам.

Здесь уживаются нелепо  
разноязычные миры:  
штилеты «шимми» — чудо нэпа —  
с ботфортом павловской поры.

В глубинах древнего комода,  
своих владельцев пережив,  
предметы быта, обихода  
стареют, службу сослужив.

И рядом с мельницей кофейной,  
где кофе нет уже, увы, —  
бинокль цейсовский трофейный —  
блестящий баловень судьбы.

Щипцы и кольца для салфеток  
и — их жантильности в укор! —  
свидетель первых пятилеток,  
трудяга честный «Фотокор».

...Но в метах времени злодейских  
приметы ветхой старины —  
всемирных бурь и бурь житейских —  
здесь, как пред Господом, равны.

И вечность в доме на Волхонке  
течёт совсем не по прямой,  
а чертит сложные восьмёрки —  
знак бесконечности самой.

И, значит, время обратимо,  
когда бок о бок в тьме веков —  
машинка пишущая «Прима»  
и список пушкинских стихов.

## АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ

«Ведь надо ж и обедать иногда», —  
являлась мысль. Душа его томилась.  
Куда пойти? Он вспоминал — куда.  
Решительно, звезда его затмилась!

Горбун-шарманщик с самого утра  
крутил свою шарманку в том подвале,  
где шла игра, кутили шулера,  
но в долг опохмеляться не давали.

Он вслушивался: песня хороша!  
И боль свежа, и сердце благородно.  
И — будь там что угодно, а душа  
доверчива должна быть и свободна.

Он — не цифирь! Он — вольный человек!  
Он — веянье! По гегелевской схеме —  
чистейший вздор. Он в этот стадный век  
не хочет быть ни с этими, ни с теми.

Пускай Дудышкин, метя в эмпирей,  
учёную затеет перебранку.  
Но чем тянуть волынку, ей-же-ей,  
не лучше ль вспомнить старую шарманку!

Давай, умри, шарманщик, но играй —  
потрафь пропащим пьяницам и нищим!  
Замри, замри, замри, вороний грай  
над крепостью, над Волковым кладбищем!

Ещё не всё! Владеющий пером,  
просящему — без тени униженья —  
за двадцать пять копеек серебром  
ещё он в силах сочинить прошение!

Ещё он твёрд — с родного перевесть  
на их — на петербургский, на воловий,  
что можно в этой крайности и счесть  
за первый шаг к слиянию сословий.

\* \* \*

Благие порывы души,  
высоких стремлений начатки.  
...И ты угасаешь в глуши —  
добро если в Пензе иль в Вятке.

А чаще — подобный замах,  
мечтания об идеале  
кончаются на Соловках,  
за Верхнеудинском, на Каре.

...Ты был бы, наверно, смешон,  
когда б не платил эту цену.  
Но снова ты прёшь на рожон  
и лоб расшибаешь об стену.

Кружит над погостами снег,  
и ветер в степи хороводит —  
и весь девятнадцатый век  
покоя душа не находит.

Невеста заплачет в тоске  
над образом полузабытым.  
И выйдут в женевском листке  
четырнадцать строчек петитом.

\* \* \*

Минувших дней трагический клубок  
не размотав хотя б наполовину,  
ты создал ученический лубок,  
а полагаешь — смелую картину.

Ты убеждён, что меркнет красота,  
страдает правда некая большая,  
когда берут различные цвета,  
их на холсте кощунственно мешая.

И у тебя история сама  
взирает с чистотою задубелой,  
что есть прямое следствие письма  
одной лишь краской — чёрной или белой.

И потирает руки сатана  
в той отдаленной области кромешной,  
где ни оттенки, ни полутона  
душе уж не споспешествуют грешной.

## ПЕСЕНКА ПРО ОРФЕЯ

Орфей, Орфей, сыграй-ка поскорей  
на лире или лучше — на кифаре.  
Орфей, Орфей, кифары не жалея,  
хотя мы все скорей привержены гитаре.

Весьма похожи струны их, весьма!  
Весьма похожи в душах наших струны!  
Природа грусти нам всё так же не ясна,  
а колесо всё так же кругло у фортуны.

Так что ж, Орфей, исполнишь ты теперь,  
когда всё это что-нибудь да значит,  
И Стикс ревёт по-прежнему, как зверь,  
и тени мёртвых, как живые, горько плачут!

И ты берёшь свой старый инструмент  
и к сердцу его бережно подносишь.  
И под античный аккомпанемент  
слова совсем, совсем иные произносишь!

Затихните, оркестры всей земли!  
И вы, рояли, помните о каре!  
Замри, любовь, а ненависть — умри,  
когда Орфей играет сладко на кифаре.



\* \* \*

Плоть пиновала, гордый дух нишал.  
Оплывший форум чавкал, словно рынок.  
О тяжба двух враждующих начал —  
души и тела вечный поединок!

Рим, как обжора, жрал и пил за двух,  
погрязнув в наслажденьях и пороках.  
Но, словно месть, светился мрачный дух  
в глазницах у насупленных пророков.

Желая мир объять и объяснить,  
корпел схоласт, не выходя наружу.  
И, плоть свою стараясь умертвить,  
он умертвил свою живую душу.

Как полагал — карающим пером  
водил отшельник, истов и бесплотен.  
Но труд его, написанный с трудом,  
был, как и он, бескровен и бесплоден.

Нет озаренья, как ты ни пиши!  
Не будет проку от соединенья  
высокого парения души  
и низкой плоти тусклого томленья.

...Но, повторяя истину стократ,  
как тренер, окружён учениками,  
выходит из гимнасии Сократ —  
с огромным лбом и мощными руками.

И значит — это был хороший тон,  
когда поэты к финишу бежали.  
И лавры олимпийские Платон  
чтил, будто философские скрижали.

Не зря, почти ступая за предел  
немыслимых вопросов и ответов,  
природой забавлялись между дел  
интеллигенты с торсами атлетов.

Не ведая губительной межи,  
в них естество, как колокол, гудело,  
и каждое движение души  
текло, как ток, в понятливое тело.

Душа и тело — небо и земля! —  
всё яростнее, всё неугомной,  
разъединенность давнюю кляня,  
вы исступлённо ищите гармоний.

И, древний пересиливая страх,  
как будто возвращаясь из разлуки,  
как странники, бредёте вы впотьмах,  
взывая и протягивая руки...

\* \* \*

Скажи: «Всё это вздор!» —  
и в день один прекрасный  
судьбе наперекор  
наш уговор негласный —  
как не было его —  
нарушь —  
и так, некстати,  
тронь — только и всего! —  
семь цифр на циферблате.

Из тьмы небытия —  
прогорклого кувшина —  
ты выпустишь меня,  
растерянного джина  
(не в дымке голубой  
резвящегося духа!),  
не зримого тобой,  
но внятного для слуха.

Какую же из тем  
избрать тебе угодно?  
Я был и глух, и нем,  
а ты была — свободна.  
Я был и нем, и глух —  
мой ум ожесточился,  
мой скорбный дух потух —  
я плакать разучился!

Актёр, я не знавал  
подобного провала!  
Я не существовал,  
но ты существовала  
в той жизни, где, как бес,  
не обладая тенью,  
возник я и исчез,  
подобно наважденью!

За всё меня прости  
и не пойми превратно.  
И — трубку опусти,  
и — отпусти обратно:  
в пристанище теней,  
туда, куда по склонам  
спускается Орфей  
с молчащим телефоном.

\* \* \*

Во дворах проходных и в парадных  
пропадая от света до тьмы,  
мы не знали девчонок нарядных  
и красавиц не видели мы.

Незаметные в шумной округе,  
беспечальные дети войны,  
были девочки, наши подруги,  
угловаты, худы и бледны.

Но, о деве тоскуя далёкой,  
забывал я про наше житьё,  
и сжималось от силы высокой  
одинокое сердце моё.

Я искал идеал — и отныне,  
отрешаясь от школьной муры,  
я вздыхал по Кондратовой Нине —  
теледикторше нашей поры.

...Между тем потихоньку, как в сказке,  
с неприметным смешком на губах  
недотроги, вьюны, сероглазки  
подрастали в соседних домах.

Всё менялось. И как-то однажды,  
после лета влетевшие в класс,  
мы притихли — и будто от жажды  
пересохли вдруг губы у нас.

Я не знаю, как это случилось,  
но не в тот ли отчаянный миг  
мы навеки отдались на милость  
милосердных ровесниц своих?

Пусть, отмеченный общею метой,  
чуть не плача, с закушенным ртом  
о мальчишеской слабости этой  
я не раз пожалею потом, —

пусть об этом не раз пожалею,  
что бывало дороже всего, —  
укорить никого не посмею  
и забыть не смогу ничего.

## БАНАЛЬНАЯ БАЛЛАДА

Меня любила девушка. Затем  
она мне изменила.

Что ж, бывает  
такое в жизни часто. Я не спорю:  
нет повести банальнее на свете.  
...Но что считать банальностью? Банальность —  
понятье отвлечённое. Мы вправе  
над нею насмеяться.

Но банальность,  
едва оставшись с нами с глазу на глаз,  
нам отомстит.

...Как я упомянул,  
мне изменила девушка. Но прежде  
мы были с ней три года неразлучны.  
Три года и три месяца! Конечно,  
по дедовским понятиям этот срок  
не столь уж долог.

Были прецеденты,  
когда порой влюблённые и доле  
*огонь любви питали...*

А в отдельных  
конкретных фактах можно усмотреть  
примеры той любви, что наши предки  
почли б за благо божие — до гроба,

примеры той любви, чьё даже имя  
теперь не мыслим мы произнести  
без некоей усмешки.

А подумать —  
над чем смеёмся? Сами ж над собою.

Но я вернусь к той девушке.

Я, право,  
не знаю, как назвать её. Знакомой?  
Едва ли это так! Да и какая  
она к чертям знакомая мне? Может,  
любовницей?

Но чуткий наш язык  
скрывает в этом слове чуть заметный  
презрительный оттенок, неуместный,  
мне кажется, по отношению к людям,  
*всем существом привязанным друг к другу.*

*Тогда я назову её любимой.*

Итак, моя любимая жила  
на Трифоновке — в шумном, знаменитом  
на всю Москву красавицами доме,  
где девочки со всех концов России  
мечтают стать Ермоловой или —  
подумать страшно! — Сарою Бернар,  
а на худой конец — хотя бы Людой



Савельевой.

Любимая моя  
была щедра. Она со мной делилась  
отважно всеми тайнствами сцены —  
и потому к концу её ученья  
я ни за что на свете бы не спутал  
систему Станиславского ну, скажем,  
с системой Мейерхольда.

И пожалуй,  
я смог бы роль в любительском спектакле  
сыграть недурно.

Но, однако, роли,  
не спрашивая нашего совета,  
распределяет жизнь, как ей угодно.

...У нас случалось всякое. Бывали  
нелепые, отчаянные ссоры —  
с взаимными упреками, с жестоким  
бореньем самолюбий. Но бывали  
прекрасные мгновения.

А впрочем,  
что за нужда рассказывать об этом  
тем, кто хоть раз любил и был любим.

Любовь нас выручала...

Помню, как-то  
меня разнёс один достойный критик.  
Его собрат — не менее достойный —  
меня вознёс. Мне кажется, что оба

тогда погорячились. Став взрослее, я осознал, что был предметом спора весьма принципиального, который едва ль касался собственно меня. Я всё читал. Но у моей любимой был лёгкий нрав. Она, свернув газету, смеялась беззаботно: «А, пустое! Как от любви — никто не застрахован от нелюбви!

Не хнычь! Давай поедем на выставку — пить пиво, или лучше осмотрим павильон собаководства!».

...Мы с нею поженились бы. Однако всё упиралось в некую жилплощадь, которой, к сожаленью, не владели ни я и ни она.

Мы порешили расстаться на год, *чтоб соединиться уже навеки в собственной квартире.*

Затем она уехала. В театре одной из наших солнечных республик она сыграть должна была Джульетту. Ей это удалось. Любовь и верность, что сочетались в ней неразделимо, ей помогли, наверно. Так, положим, тогда я рассуждал. И даже тени

не ведал подозренья: это было б,  
по-видимому, глупо  
и противно  
*естественности наших отношений.*  
Она писала: «Что же ты не едешь!  
Любимый, приезжай!». Она звонила:  
«Ну что ты медлишь? Мы с тобой в разлуке  
почти полгода». Но четыре тыщи  
нас разделяло с нею километров.

Я продал плащ. Я заложил часы —  
подарок брата. Денег не хватало.  
Тогда я план придумал. Я пошёл  
в одно из тех издательств, где ко мне  
как будто бы неплохо относились.

Я так сказал редактору: «Прекрасно  
вы знаете, что есть у нас на юге  
прекрасная республика, где, кстати,  
работают прекрасные поэты,  
которые прекрасно сочиняют  
прекрасные, мне кажется, стихи.  
Я полагаю, было бы не лишним  
меня послать туда в командировку:  
я перевёл бы их произведенья  
на наш прекрасный радостный язык».  
Редактор призадумался. Поспешно  
я вставил: «Что касается оплаты,  
то это — не суть важно! Мною движет  
одна любовь. И только лишь любовь!».

Я дни считал до встречи.

В самолёте  
я сочинил программу. Мы уедем  
в далёкое Джайлау. В белой юрте  
мы проведём неделю, запивая  
бараний плов кумысом. Аксакалы  
нам станут петь. И я переложу  
с возможным прилежаньем их творенья.

Мы встретились.

Она была всё та же.  
но иногда в глазах её мелькало  
и нечто незнакомое.

Звучит  
так иногда кувшин, что заключает  
двойное дно.

Неопытному слуху  
не отличить обычного звучанья  
от звука необычного. Тогда  
я не придал серьёзного значенья  
подобным околичностям. Душа —  
душа тем паче женская — потёмки.

Весь день мы были вместе. На базаре  
мы пили крепкий, чуть солоноватый  
зеленый чай.

Во всём же остальном  
Восток не поражал воображенья  
особой экзотичностью. Стояли

вокруг такие ж блочные строенья,  
как и во всех иных градах и весях.

Она жила в одном из них. Мы были  
в актёрском общежитье. Пахло хлоркой,  
сгоревшим луком, стиркой и слабее —  
дешёвым гримом.

Узкая кровать  
жгла выставшим железом. Я подумал,  
что ей, должно быть, страшно одиноко  
жить в незнакомом городе. Конечно,  
на женщину влияет обстановка.  
Как, впрочем, и на всех.

На табуретке  
лежали грудой письма, что исправно  
я ей писал. (Невольно придаём  
мы письмам непомерное значенье.  
Бумага есть бумага. Человека  
она не заменяет. Всё же странно  
мне было встретить собственной рукой  
написанные строки: это чувство  
меня смущало несколько — как будто  
себя ты встретил. Но себя себе же  
уже чужого.)

Рядом сковородка  
с вчерашними стояла голубцами,  
подёрнутыми тонким слоем жира.

Белели стены. Я не смог заметить  
весьма бы здесь уместных фотографий  
киногероев. Лишь с одной из стен  
печально улыбался непохожий  
сам на себя Марчелло Матрострени.

Мы утром разошлись. Она спешила  
в театр на репетицию. Я с жаром  
принялся за дела. Договорённость  
у нас существовала, что под вечер  
мы встретимся в гостинице.

Я ждал  
с пяти часов её звонка. Предчувствий  
мне не являлось. ...Но ни в семь, ни в восемь,  
ни в девять мне она не позвонила.

Такси я не нашёл.

Пустой троллейбус  
меня тащил через вечерний город  
до улицы Белинского. Там тускло  
светилось общежитие: оно  
уж засыпало. Дверь моей любимой  
была закрыта. Сев на подоконник,  
я закурил. Наверно, задержалась  
она в театре.

*Мало ль что бывает!*  
...Всё затихало. Оперная прима  
стирала в кухне свитер. Торопливо

стучали каблучки по коридору  
последних полуночниц. Каждый стук  
рождал надежду. Вскоре всё затихло.

Она явилась утром. Тихой, бледной  
и — отрешённой. Я молчал. Она  
молчала тоже.

Это длилось долго.

*Тогда она заплакала.*

Тогда

я закричал: «Не может быть! Ты шутишь!  
Чего ты плачешь? Ты была на съёмках?  
Скажи, ты нездорова? Задержалась  
ты у подруги? Что же ты молчишь?!»  
Она не отвечала. Непохожий  
сам на себя Марчелло Мастрояни  
глазел, скрывая грустную усмешку,  
с пустой стены.

*... Тогда она сказала:*

«Ты слишком долго ехал. Слишком просто  
меня ты отпустил. И слишком часто  
мне было одиноко. Я не в силах  
всё это объяснить. Через неделю

ты вновь уедешь. У меня не хватит слёз на четыре тыщи километров».

Что было делать? Говорить о долге? Взывать к рассудку? Бить? Но для мужчины всё это унижительно. К тому же я был освобождён в одну минуту от этих прав. Я был уже не волен карать или прощать.

Мне вдруг некстати припомнилась история о том, как умирал один большой мыслитель, почти всю жизнь с невыносимой силой искавший смысл жизни. Он в бреду на миг очнулся, тяжело поднял веки, прислушался, привстал на смертном ложе и, изумлённо разведя руками, промолвил: «Ничего не понимаю!».

...Я в тот же день уехал. В горнолыжном пристанище — на маленькой турбазе мне дали ключ от номера. Мой номер был нулевым. Ирония пришлась, пожалуй, кстати: я и в самом деле всё начинал с нуля. Уже однажды со мной такое было. С той поры я мнил себя немало искушённым



в несовершенствах жизни. (Нам присуще себя переоценивать. И нас вдруг посещает странная идея, что мы познали женщину. Кому, по совести, не лестно оставаться в подобном заблуждении?) Мужчины и до седин порою совершают глупейшие ошибки. Но ещё не видел я примера, чтобы глупость, допущенная женщиной, в итоге не обернулась мудростью. От века прекрасный пол, как гений-самоучка, играет роль, в которой не отыщешь ни капли фальши.

Пусть меня простят за это отступление... Так банальной развязкой завершилось то, что вряд ли сочли бы мы банальным. Позабыв про переводы, на пустой турбазе я написал всё это. Остаётся мне лишь поставить dixi, что по-русски примерно означает: «Я сказал — и тем спас душу». Выбора иного не существует. И совсем неважно, кто прав, кто виноват. В конечном счёте права любовь. И только лишь — любовь.

## СОН

Я вверх взглянул, от ужаса дрожа:  
прекрасным утром, раннею весною  
на уровне восьмого этажа  
ты стекла тёрла тряпкою цветною!

Я закричал: — Себя побереги!  
Как ты могла? Что скажет тётя Лиза?! —  
Но ты в ответ: — Ах, это пустяки! —  
и тихо оттолкнулась от карниза.

И, ангельски спускаясь с высоты,  
ты перешла в надменное паренье,  
как бы явив ту истину, что ты  
воистину небесное творенье.

Ты поправляла шпильки в волосах,  
досадливо придерживала платье...  
И понял я: круженье в небесах  
обычайшее, в сущности, занятие!

А ты парила, облаку под стать,  
и, излучая слабое сиянье,  
— Летать, — смеялась, — надобно летать —  
в нормальное вернуться состоянье!..

## ГОРОДСКОЙ РОМАНС

В ночь с понедельника на вторник\*  
звезда маячила в окне.  
Качался свет, ругался дворник,  
часы хрипели на стене.

Как будто празднуя победу,  
раздор бессмысленный отверг  
и в ночь со вторника на среду,  
и ночь со среды на четверг.

Выл ветер, словно беспризорник,  
луна бездомная плыла.  
...Ночь с понедельника на вторник  
для нас последнею была.

---

\* Эта незатейливая строчка так приглянулась моему покойному другу Вадиму Рабиновичу, что он (впрочем, с согласия автора) украсил ею собственное стихотворение.

## СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАНС

Нас по грудь занесло листопадом —  
скоро вовсе мы сгинем под ним.  
Ты грозишь мне то раем, то адом,  
то забвением страшным своим.

Ты грозишь мне то счастьем, то мукой,  
то бессонницей долгой ночной.  
Самой горькой на свете разлукой,  
самой чёрной своею виной.

...Я напрасно не верил пророкам,  
оттого и накликал беду.  
Я не выдам тебе ненароком,  
что написано мне на роду.

Отчего не сказал тебе сразу,  
что ни разу я не был влюблён,  
что от порчи и бабьего сглазу  
я прабабкою заговорён.

Окажи мне последнюю милость:  
попроси у судьбы за двоих —  
чтобы только сбылось,  
чтобы сб́лось  
хоть одно из заклятий твоих.

\* \* \*

О чём шумели мы по вечерам,  
что ведали, в каких витали далях,  
что запрещалось, что прощалось нам —  
того уже не помню я в деталях.

Я вспоминаю только общий фон,  
да глупости, да сущие безделки:  
громоздкий коммунальный телефон,  
бесплотный пламень газовой горелки.

Мы были так беспечны, видит бог!  
И подозренья не было меж нами,  
что двое из присутствующих трёх  
уже навеки сделались врагами.

А третья — чайник ставила на газ,  
когда опасней вспыхивали споры,  
и взглядывала пристально на нас,  
но не вступала в наши разговоры.

И провожала молча до крыльца.  
И головой задумчиво качала.  
...И твоего прекрасного лица  
как будто бы ничто не омрачало.

\* \* \*

Не предавай, пожалуйста, меня —  
прошу тебя — ни взором, ни словами.  
Во мраке ночи иль при свете дня  
что было — пусть останется меж нами.

К чему нам соглядатаи? Пойми —  
что б там у нас ни вышло — третий лишний.  
Какими бы то ни было людьми  
мы не судимы. Да и сам Всевышний,

я полагаю, тут бы не посмел  
вперять своё всевидящее око.  
Тебя любил я. Глупо, как умел.  
Но я — любил. Поэтому жестоко

над этим потешаться, ледяной  
усмешкой обходиться, на пределе  
держат чужое сердце — и одной  
распоряжаться тем, чем не владели

мы порознь. Уж лучше забывай  
всё начисто — и средь забот всегдашних  
будь счастлива! Но лишь не предавай  
нас, чуть живых, растерянных — тогдашних.

\* \* \*

Познакомились зимой.  
Может, в это время года  
равнодушная природа  
нам потворствует с тобой?  
Легковесная весна  
не приносит утешений,  
и принятию решений  
не способствует она.  
Лето.

Выдохся.

Иссяк.

Зной, томленье, неудачи —  
я в отъезде, ты на даче —  
всё идёт вперекосьяк!  
...Прах осенний отрясём.  
Эти дни коротковаты.  
Мы ни в чём не виноваты.  
Виноваты мы во всём.  
Виноваты вопреки  
увяданию природы,  
и желанию свободы,  
и предчувствию тоски.

\* \* \*

Этот затяжной роман  
не имеет окончания:  
запустенье, одичанье,  
боль разлуки, боль от ран,  
не имеющих названья,  
корь, проклятие, призванье,  
сон, оптический обман!

Так давай же наконец  
мы на том поставим точку,  
а потом — поставим бочку,  
и хоть завтра — под венец,  
отвергая проволочку, —  
чтобы сына или дочку  
родила ты наконец!

И хотя такой исход  
с виду, может, и банален,  
но естественен, реален  
и основу придаёт  
видам нашего романа,  
длящегося, как ни странно,  
вот уже который год...



## ЖЕСТОКИЙ РОМАНС

Я ждал тебя три года. Что с того.  
Я буду ждать тебя ещё три года.  
Ещё три раза по три. Ничего.  
Я подожду. Ненастная погода,

прекрасная погода, иногда —  
то и другое вместе — всё едино.  
Я буду ждать до Страшного суда  
и — буду после. Мне необходима

лишь только ты. Задача из задач.  
Иное — не суть важно. Ты — свободна:  
плачь или смейся, смейся или плачь —  
а впрочем, делай что тебе угодно, —

я буду ждать. Мне незачем спешить  
испытывать судьбу. Себе дороже.  
Когда я знаю — без тебя не жить, —  
уже не важно, раньше или позже,

и даже роковое «никогда»  
не мнится столь уж непреодолимым,  
когда такая выпала беда:  
любить — и быть тобою нелюбимым.

\* \* \*

Я не искал случайных встреч с тобой.  
Но мне, несуетверному с рожденья,  
в идущей мимо женщине любой  
твой образ мнился, словно наважденье.

Был полдень сводней. Я сбивался с ног!  
Что за район? Какое это место?  
Ведь ты могла, внезапная как рок,  
явиться мне из каждого подъезда.

...Но твой отъезд — и, как бы не у дел,  
бреду понуро по Замоскворечью.  
Куда спешить мне? Город опустел.  
На что глазеть? Я никого не встречу.

\* \* \*

Я не буду тебя укорять,  
ничего повторять я не буду.  
Я не буду тебя вспоминать —  
я тебя навсегда позабуду!

Позабуду тебя навсегда —  
с глаз долой, вон из сердца — и точка!  
И — молчок. И уже никогда  
о тебе — ни одна моя строчка.

И весь день я об этом твержу,  
и всю ночь повторяю я снова:  
— Я забуду тебя, не скажу  
о тебе ни единого слова...

\* \* \*

Ибрагимов, мы не виноваты —  
видно, наша такая судьба:  
мы с тобою одни не женаты  
из всего из десятого «А».

Ах, спасибо тебе за учёбу,  
школа номер шестьсот двадцать шесть!  
Помнишь рыжую Верку Сычёву —  
у неё уже рыжики есть!

Не насупливай умные брови,  
ничего не поделаешь, друг:  
наши первые в жизни любви  
оказались последними вдруг.

Наши девочки — те, что вначале —  
отвлечённая наша печаль,  
с нами скоро они заскучали  
и умчались в прекрасную даль.

Что ж молчишь о делах своих личных —  
иль наука твоя такова,  
Ибрагимов, железный отличник,  
Эдисон из десятого «А».

## СТИХИ О БРАКОРАЗВОДНОМ ПРОЦЕССЕ

Я не знаю, мой ли это промах —  
действие подземных величин:  
вся земля в разрывах и в разломах.  
О причинах, впрочем, умолчим.

Что за толк отыскивать причину  
столь обыкновенного конца?  
...Осторожно намекнули сыну.  
Сын взглянул на мать и на отца.

Дальше — больше. В месяце июле,  
дабы гнев твой праведный утих,  
я вернул тебе твои кастрюли  
с благодарной памятью о них.

В мировом порядке всё в порядке,  
ежели первично бытиё.  
Соберу и я свои манатки.  
Будь здорова! Каждому — своё.

Ты пополнишь сонмы разведёнок.  
Я пойду — свободный пилигрим!  
...Но на нас взирает наш ребёнок —  
тот, который, к счастью, неделим.

Он глядит угрюмо, исподлобья,  
он очей не сводит с нас двоих.  
Нежный отрок, тайное подобье  
мук моих и радостей твоих.

Я бы смог помериться с судьбою.  
Но когда над ним витает рок —  
погоди, опомнись, Бог с тобою —  
я в такие игры не игрок!

Мне, признаться, мало утешенья  
созерцать во всей его красе  
славное одно сооруженье,  
что на детской держится слезе.

Ибо нам за вечным недосугом  
различить и некогда, и лень,  
что, ни в чём не схожие друг с другом,  
мы одну отбрасываем тень.

Там любовь и ненависть, и жалость,  
плач на реках и обиды дрожь.  
...Это с кровью кровь перемешалась —  
их уже водой не разольёшь.

\* \* \*

Не грусти, что липы облетели,  
улетели птицы, гомоня...  
— Что же с нами будет, в самом деле?  
— Где мне знать? Не спрашивай меня...

Тихий свет от белых колоколен,  
это — к снегу. Выйди, погляди.  
Не суди за то, что я не волен  
унимать осенние дожди.

Не пеняй, что я уже не в силах,  
порванную связывая нить,  
этих светов, этих дней унылых,  
наваждений этих — изменить.

Не жалею о пролетевшем лете.  
Посиди тихонько у огня.  
Что нам делать, как нам жить на свете —  
где мне знать, — не спрашивай меня...

\* \* \*

Отплакала, отпела, отлюбила,  
отголосила, мёртвых отждала.  
И жизнь прошла: что было — позабыла,  
как будто бы и вовсе не была.

Разбит очаг, муж не пришёл из плена,  
в могиле дети — кровь её и плоть.  
— Как, мать, жила?

— Жила? Обыкновенно.

Не без греха, да милостив Господь...



\* \* \*

Не тень увядшей красоты  
и не следы страстей потухших —  
лишь отблеск счастья иль беды  
на лицах женских и на душах.

Уже как будто б отошла  
пора — лишь смотрят сердобольно  
глаза, не помнящие зла,  
что мы содеяли невольно...

\* \* \*

Всё пройдёт. И останутся только  
от дарованных жизнью щедрот  
эти очи, глядящие горько,  
этот тронутый временем рот.

Я представил тебя молодой  
по прошествии множества лет.  
Молодой — и очень седую,  
хотя логики в этом и нет.

Нету логики в этом, о боже!  
И не знаю я сам, отчего  
те черты мне родней и дороже  
молодого лица твоего.

\* \* \*

Когда б я не любил тебя,  
когда б я не любил,  
как ты — не знаю, а уж я  
наверно б хуже был.

Я б умалился во сто крат.  
Я свёлся бы к нулю.  
Но мне теперь сам чёрт не брат —  
пока тебя люблю.

Как будто снова — ты и я  
сошлись в последний раз.  
И чаша горькая сия  
не утолила нас.

\* \* \*

Доживём ли до нового года  
иль расстанемся в старом году —  
этой правды не скажет природа —  
ни под пыткой, ни в вещем бреду.

Словно давний испытанный кореш,  
нас не выдаст она ни за грош.  
Как ни бейся — её не расколешь,  
на мякине не проведёшь.

Не печалься о дивной обузе!  
Это значит, что ночью и днём  
мы находимся в тайном союзе  
с зимним ветром, с водой и огнём.

С той надеждой, что душу питает  
и витает над нами впотьмах —  
и не хочет исчезнуть — и тает,  
словно снег у тебя на губах.

\* \* \*

Как тихо в январском лесу!  
Как будто захлопнули крышку.  
А если уронишь слезу —  
слеза обратится в ледышку.

А будешь смеяться — и смех  
замрёт на губах оробелых —  
как лёгкий рассыплется снег,  
в сугробах сокроется белых.

Не плачь и не смейся — молчи!  
Не мучайся дурью напрасно.  
Зиме своё сердце вручи —  
она холодна и бесстрашна.

Зиме своё сердце отдай,  
не смыслающей в том ни бельмеса.  
Сбивайся, в трёх соснах плутай,  
не видь за деревьями леса.

До дна промерзают пруды.  
Сияют снега неоглядно.  
И все замечает следы —  
туда что вели и обратно.

\* \* \*

У, неласковая дева,  
безглагольные уста!  
Ни веселия, ни гнева —  
высь небесная пуста.

И под взором равнодушным  
наши шутки — на излёт.  
Так в пространстве безвоздушном  
задыхается пилот.

Так насупит автор брови,  
чтоб тебя предостеречь,  
но в сердцах на полуслове  
оборвёт прямую речь.

Он зайдёт в твою обитель  
лет, положим, через сто.  
Может, кто тебя обидел?  
Ты не скажешь — ни за что.

Ты не скажешь, не расскажешь,  
ниже голову нагнёшь.  
Даже виду не покажешь,  
рыжим глазом не моргнёшь!

...Как во городе во Пскове,  
утопающем в снегу,  
потолкуем о Лескове,  
а о прочем — ни гу-гу.

Ибо если неизвестность  
или женщина горда, —  
нас российская словесность  
выручает, как всегда.

Ибо в сей провинциальной,  
хитрожопой стороне  
надо быть принципиальной:  
на войне — как на войне.

...Эту старую пластинку  
зная вдоль и поперёк,  
ты нечаянно постигла  
то, что нам и невдомёк.

И поэтому-то в новость  
для ровесника-юнца  
эта ранняя суровость,  
строгость нежного лица.

И надменный этот локон,  
намекающий уму  
о прекрасном и высоком —  
неизвестно почему.

\* \* \*

— Всё это так, — ты говоришь  
и голову упрямо клонишь.  
— Всё это так! — И замолчишь,  
ни звука больше не проронишь.

Меня не удостоишь впредь  
ты пререкания с собою.  
Я прав! Но легче умереть,  
чем правым быть перед тобою.

Я говорю. А ты молчишь  
и лишь кивнёшь вместо ответа.  
— Всё это так, — ты говоришь.  
И я не знаю — так ли это.



\* \* \*

Сентябрь — и пора увяданья.  
Осенние дали чисты.  
Тебе говорю: «До свиданья!»  
Твои забываю черты.

Черту провожу посредине —  
как надвое душу дроблю.  
Пишу на второй половине:  
«Я больше тебя не люблю!»

Не видеть, не слыживать слыхом,  
по имени даже не знать.  
Желаю удачи! Я лихом  
не буду тебя поминать.

...У брода, у чёрного пруда  
трубит обезумевший лось.  
И роща ветрами продута,  
продута ветрами насквозь.

Ругает ненастье ругатель,  
и свет ему белый не мил.  
...Но некий бумаги маратель  
уж перья свои очинил.

Начну своё долгое дело.  
Запрусь в одиноком дому.  
Не ведаю, что ты хотела,  
но осень — и быть по сему!

Забыты обиды, забыты  
все окна на юго-восток.  
Ступай, куда хочешь! Мы квиты.  
Сентябрь — и подведен итог.

Сентябрь — и пора миновала.  
Осталась лишь голая суть.  
Прощай! Как ни в чём не бывало  
живи — и меня позабудь!

Прощай, говорю! До свиданья!  
Уж облетают сады,  
и древнее древо познания  
всё реже приносит плоды.

И червь их сомнения точит.  
И всё холоднее утра.  
И осень разлуку пророчит,  
не ведая зла и добра.

\* \* \*

Шестнадцатое сентября.  
Сентиментальность под запретом.  
И нам, по правде говоря,  
жалеть не следует об этом.

Понижен транспортный тариф!  
Гуляет ветер по бульварам!  
Ещё дверей не отворив,  
не надо вспоминать о старом.

Войти в обшарпанный подъезд —  
без выражения на лицах.  
Не выдаст бог, свинья не съест,  
беспамятство не повторится.

И, ключ под тряпкой половой  
нашаривая у порога,  
себя вдруг выдать с головой  
невольным задыханьем слога.

\* \* \*

Дом стоит на берегу.  
Рыбы плавают морские.  
Те слова поберегу,  
а скажу тебе — другие.

Значит, снова — не судьба!  
И, как водится меж нами,  
я скажу тебе слова,  
ты ответишь мне — словами.

Словно нам уж не впервой  
под одним сходиться кровом.  
Разговаривать с тобой.  
Не обмолвиться ни словом.

\* \* \*

Любовь наша так проходила:  
ещё продолжалось вчера,  
а ты меня тихо будила.  
«Пора, — мне твердила, — пора!»

Я помню тебя на рассвете  
такою, какая ты есть.  
Но скоро проснутся соседи:  
«Вставай же, без четверти шесть!»

...В снегу утопали ботинки,  
мигал светофор на углу.  
Я шёл по безлюдной Ордынке,  
вдыхая морозную мглу.

Я шёл посреди тротуара  
и думал, что жизнь хороша.  
И лёгкое облако пара  
витало за мной, как душа.

\* \* \*

Вроде всё в этом парке на прежних местах.  
Лишь заметнее галки на голых кустах.

Где творилась потеха, машет лапами ель.  
Тихо в комнате смеха, не кружит карусель.

Не играет органчик, что внутри затаён.  
И в бумажный стаканчик тычет хоботом слон.

Что ж, конец карусели. Видно, дело — табак.  
Мы с тобой постарели. Это так? Это так!

Тень любви и печали у тебя на лице.  
То, что было вначале, не бывает в конце.

Было то не напрасным, остальное не в счёт!  
В этом мире прекрасном всё прекрасно идёт.

Светит солнце неярко на сухую траву,  
и работники парка сожигают листву.

Отошла позолота. Отмелась мишура.  
Запирают ворота. Нам пора. Нам пора.

\* \* \*

О. К.

Как поживаешь, плясунья?  
Вот и уважен закон,  
не разрешающий всуе  
произнесенье имён.

Верен стихам безымянным —  
временем скрыт аноним!  
...Что же мне делать с желанным  
именем милым твоим?

Как совладать мне с недугом,  
чтобы в рассветную рань  
этим нечаянным звуком  
не разорвало гортань —

в час, когда вытрет сиделка  
смертную влагу со лба.  
...Ты-то всё думал: безделка!  
А оказалось — судьба.

\* \* \*

Явив такую милость,  
ступил ты в этот круг.  
Но что с тобой случилось,  
стряслось с тобою вдруг?  
От прежних откровений  
не стало ничего.  
Всё меньше озарений,  
всё чище мастерство.  
И словно бы нарочно,  
молчаньем окружён,  
ты видишь еженощно  
один и тот же сон.  
Ты видишь дом, собаку,  
веранду в полумгле  
и белую бумагу  
на письменном столе.  
Всё та ж в тебе отвага,  
какая и была,  
но белая бумага  
пугающе бела.  
И, тычась бестолково  
среди этой немоты,  
ни слова, ни полслова  
не в силах вспомнить ты...



## **ИЗ РАННИХ ТЕТРАДЕЙ**



\* \* \*

Эпоха

просит

простоты.

Она устала от изыска,  
от изошрённой пустоты,  
от осмотрительного риска.

Ей равным образом претит  
всё, что по сущности манерно:  
напыщенность кариатид  
и обезличенность модерна.

О эта правда естества,  
заветная первооснова,  
когда обычные слова  
нас продирают до озноба!

Так, задохнувшись бы, вошла  
к тебе вдруг женщина с мороза,  
с которой тщетна и смешна  
любая выпренность и поза.

## ГОРИТ ЯН ГУС

Горит Ян Гус. Он руки распростёр.  
Чернеет небо, как печная вьюшка.  
И сердобольно хворост на костёр  
подбрасывает, охая, старушка.  
Но пламя, обнимая города,  
от той вязанки маленькой взметнулось.  
Горит рейхстаг...

Святая простота —  
Как горько ты Европе обернулась!

Мы стали не наивны. Не просты.  
Но иногда вдруг чувствую я глухо:  
Горит Ян Гус. Чадят ещё костры.  
Жива ещё та самая старуха...

## КАНУНЫ

Майоров пишет грустные стихи:  
«Мы были высоки, русоволосы...»  
Фашисты в Праге.

Скорбны и легки,  
горят, как свечи, польские берёзы.

А над Москвой простёрта тишина.  
Шумят деревья влажною листвою.  
Идёт весна.

За ней идёт война.  
Она ещё не стала мировойю.

Она ещё не сгорбила их плеч,  
ещё ни бомб, ни затемнённых окон.  
«Нам лечь, где лечь,

и там не встать, где лечь», —  
в последний раз прочтёт ифлищам Коган.

Им ведомо, что ждёт их на веку.  
Не жертвенность. Не поза. Не бравада.  
Поэзия, за каждую строку  
пришёл твой срок платить у Сталинграда.

Поэзия, провидящий солдат,  
тебе одной вручается повестка,  
когда ещё предательски молчат  
германские орудия у Бреста.

Когда сирень кипит со всех сторон,  
и белый дым, как дым беды грядущей.  
И, как идущий к фронту эшелон,  
ночной трамвай, в Сокольники идущий.

## ЗИМА 1946-го

Крест-накрест двери заколочены.  
Как дула — скважины замков.  
О эти сумрачные очереди  
у продовольственных ларьков!

И мы, стоящие со взрослыми  
(поскольку тот же хлеб едим!),  
болтаем рыжими авоськами,  
скучать без дела не хотим.

Но вот на улице заслеженной,  
когда уж нам невоготу,  
мы начинаем бабу снежную  
лепить отчаянно на льду.

Москва снегами запорошена,  
и затемнение снято!  
...Заложено-перезаложено  
в ломбарде мамино пальто.

А мы ещё на свете не жили,  
нам всё на свете нипочём.  
А мы — мы лепим бабу снежную  
и не горюем ни о чём.

Мы лепим, будто обалделые,  
но хитрый есть у нас расчёт:  
недаром наша баба белая  
в ту бабью очередь встаёт.

Она стоит и улыбается,  
и ей неведомо пока,  
что на неё — не полагается,  
не полагается пайка.





Она идёт по городу в кино.  
А город Канск в сиреневом цветении.  
И уроженцы Канска, а не тени  
из забытья плывут на полотно.

Как при бомбёжке, в зале гаснет свет,  
и от судьбы солдату не укрыться.  
...Той женщиной оплачен ты сторицей,  
на семь пятнадцать купленный билет.

Ей снова будет сниться до зари,  
как через Канск идут на запад роты.  
Они бессмертны, смертные те роли,  
они куда бесспорней, чем «Гран-при».

...Россия сыновей своих растит,  
ей говорящих правду без прикраски.  
Ведь женщина, что проживает в Канске,  
веки нам неправды не простит.





## ПЕТУХИ

А как кричат в предгрозя петухи?  
Они кричат охрипло и жестоко —  
за пять минут до рокового срока,  
и кровью набухают их зрачки.  
Они кричат, как тыщи лет назад,  
почуяв на дорогах конский топот.  
Они точны, как электронный робот.  
И государства, слыша их, не спят.  
Как шар земной, вращаются всю ночь  
локаторы бессонно и дотошно.  
И лунный свет в них плещется тревожно,  
как будто чем-то хочет им помочь.  
...Я глаз твоих не вижу в полумгле,  
а губы твои горьки и упруги.  
...А петухи кричат по всей округе,  
а может быть, кричат по всей земле.  
По всей земле горланят петухи.  
И девушки своих ласкают милых.  
И на солдатских брошенных могилах  
неслышно опадают лепестки...

1962

\* \* \*

А где вы были, новгородцы,  
когда кромешная орда,  
хлеща храпящих иноходцев,  
пошла на наши города?

Где были вы, когда в печали  
земля скорбела и звала?  
Зачем софийские молчали  
набатные колокола?

Зачем, когда единый рыщет  
кочевный ворог за Москвой,  
на Ярославовом дворище  
не молкнет ропот вечевой?

...Ты бился, Новгород, на совесть,  
Ты не боялся ничего.  
Но чёрной кровью междусобиц  
твоё туманилось чело.

Рога победные трубили  
в рязанских землях и тверских,  
и рати недруги копили,  
покуда били мы своих.

И так друг друга мы ругали,  
что, очевидно, потому  
почти что голыми руками  
нас брал Батый по одному.

...Но, как последний пехотинец,  
с колена бьющий в самолёт,  
врагу насупленный детинец  
грозил из северных болот.

Он знал, сгружая на подводы  
ясак — изделия и меха,  
что если мёд — цена свободы, —  
сама свобода не сладка.

И если иго чужеземца  
пригнёт нас в Кимрах иль в Торжке,  
то, где б ты ни был, твоё сердце  
забьётся в муке и в тоске.

Не зря неволя пуще смерти!  
Не зря корявым кулаком  
Восток и Запад держат смерды  
на Куликовом и Чудском.

Костров дозорное свеченье,  
плывущее через века...  
О сколь светло предназначенье  
и сколь та ноша нелегка!

И эхом споров и раздоров  
витают в мощной тишине  
гуденье страшное соборов,  
стенанья женщин на стене.





\* \* \*

О дворик на проспекте Маркса  
(или на бывшей Моховой),  
моя решительная муза —  
студенточка перед тобой!

Здесь  
у прославленной читальни,  
вкусив премудрости её,  
сидят на лавочках титаны,  
что знают абсолютно всё:

с международной обстановки  
до часа запуска ракет  
и что в студенческой столовке  
сегодня будет на обед.

Какие мысли у деканов,  
что ел на завтрак Мопассан,  
и содержание романов,  
которых он не написал.

Все факультетские светила  
дымят «Дукатом» в небеса,  
и как судьба неотвратимы  
их молодые голоса.

Небрит,  
        решителен и стоек  
    пять раз срезавший диамат,  
несёт стипендию историк —  
своей отваги дубликат.

И первокурсница-девчонка  
с провинциальнейшей косой  
за три минуты до зачёта  
латынь долбаёт со слезой.

Пьём газировку торопливо,  
мороженое — нарасхват,  
и пух  
        слетает  
                тополиный  
на жарко дышащий асфальт.

И я вздыхаю неженато,  
когда ты с лекции идёшь,  
смеясь на шуточки журфака,  
под оком бдительных вахтерш.

Идёшь по солнечным ступенькам,  
так непохожа на других,  
угроза для моих стипендий,  
и если б только для моих!

Мне так легко и окрылённо  
с тобою, Университет!  
Гранитно Герцен с Огарёвым  
глядят, как ректоры, мне вслед.

Наш дворик,  
ты на всех широтах!  
Ты ставишь, как свою печать,  
на всех целинных эшелонах  
наш мощный лозунг: «Не пиццать!»

Наш дворик, радуйся и майся,  
цвети гвоздикой на заре!  
Откуда мы?  
С проспекта Маркса —  
он самый главный на земле.

\* \* \*

Пишу я курсовую по истории.  
Листаю пожелтевшие источники,  
в таблицах цифры стойко вывожу  
и вдумчиво на потолок гляжу.  
Но с потолка библиотеки Ленинской  
(да, с потолка!)

стихи

сбегают

лесенкой

и скачут табунами кобылиц  
среди цитат серьёзных и таблиц.  
Я выхожу в курилку.

А в курилке

мой друг дымит, как сопка на Курилах,  
дымит,

дурит,

берёт курилку в плен  
неразрешённых мировых проблем.  
Ты крут и непреклонен, мой товарищ!  
Ты вдохновенно лириков ругаешь,  
громишь, авторитетов не ценя,  
Державина,

Коржавина,

меня.

Вот ты сидишь, ты формулами бредишь,  
принципиально бороду не бреешь  
и говоришь мне, что-то вспомнив вдруг:  
«Салют, старик, я еду в институт!»

...Но на углу Смоленской и Арбата  
стоит Кравцова Любка с биофака.  
И почему-то

около Арбата  
цветы ты покупаешь виновато.  
Ты Любку эрудицией не давишь,  
а просто

ей подснежники ты даришь,  
в её глаза зелёные глядишь  
и не «салют», а «здравствуй» говоришь.  
И с Любкой вы шагаете по скверу,  
как будто вы шагаете по свету.  
И с плеч её, неясных, как во сне,  
ты неумело стряхиваешь снег.  
Ты ей в ладони маленькие дышишь,  
ты дышишь так,

как будто бы не дышишь,  
ты пальцы ей целуешь, как впервой,  
и колешь их своею бородой.  
Такие вот случаются истории...  
А я пишу работу по истории,  
и в ней

об этом  
нету ни строки.  
Но завтра я в курилке друга встречу,  
ни в чём не стану я ему перечить,  
а прочитаю эти вот стихи.

\* \* \*

Хрипучий март болеет гриппом.  
Скрипят влюблённые пером.  
...А я пишу диплом со скрипом,  
со скрипом

движется

диплом.

И липы чёрные со скрипом  
скребут, как странники, в окно.  
И краны кухонные с всхлипом  
бормочут страстно и грешно.

И слон в зверинце, обезумев,  
в пылу восторженной тоски,  
как пробудившийся Везувий,  
вольер разносит на куски.  
Себя познавшая природа,  
ликуя, мучаясь, трубя,  
ждёт прибавления, прироста —  
ждёт продолжения себя.

Каким же будет продолженье?  
Скачок в неведомое?

Смерть?

Профессор, сделай одолженье —  
на все вопросы мне ответь.  
Зачем идёт то снег, то дождик,  
зачем безумствует гроза?  
В какие звёзды я продолжусь,  
во чьи неясные глаза?

Какая женщина иная  
в несхожем с нашими краю  
печально тронет, как земная,  
ладонью голову мою?  
...Но строгий, словно бы провизор,  
блистая лунным серебром,  
мне мрачно говорил профессор:  
«Пишите, Волгин, свой диплом!  
Пусть ваше рвенье и похвально,  
но с кругом данных мною тем  
ни косвенно и ни буквально,  
оно не связано совсем».

...В галошах новеньких, со скрипом,  
идёт профессор из ворот.  
И лёд скрипит,  
и нервным тиком  
капель по шляпе его бьёт.  
Весна бесчинствует на Бронной,  
и он при взгляде на жену  
вдруг думает, что он дипломник, —  
он втюрен по уши в весну.  
Горят проектные задания.  
Ждут на вокзалах поезда.  
И все вопросы мироздания  
неразрешимы, как тогда!

А я, задумчив и невесел,  
бреду по мокрой мостовой.  
Мне кажется, что я — профессор  
с седой усталой головой.

Я хмур.

Очки мои студёны.  
Мне в уши каркают грачи.  
Но где-то ждут меня студенты —  
мыслители и трепачи.  
Я знаю всё.

Я закалённый.  
Но мне, ей-богу, нелегко,  
что я, как дьявол, умудрённый  
и — не влюблённый ни в кого.



## НОЧНЫЕ ГОРОДА

Я вас люблю, ночные города,  
как девушек, застигнутых весною.  
Я по бульварам шляюсь до утра,  
обрызганный машиной поливную.

На тротуарах влажные следы.  
В пустых парадных призрачно и сонно.  
На клумбах нерасцветшие цветы  
кивают мне головками бутонов.

Я вас люблю, ночные города, —  
вы откровенье тайное такое.  
И то, что днём не скажешь никогда,  
вам говорю открыто и легко я.

Я о себе вам молча говорю.  
И, каменные лбы свои наморща,  
как мудрецы, задумчиво и мощно  
вы слушаете исповедь мою.

А после вы расскажете о том,  
как днём на ваших Трубных и Арбатах  
я газировку пил из автоматов  
и покупал газеты за углом.

Уже нигде рекламы не горят,  
и, растворяясь в переулках дальних,  
о всех своих сомнениях и тайнах  
мне города негромко говорят.

Ещё деревья стынут в полусне.  
Меня ругает мама полуночником.  
Но мне кивают звёзды, как сообщники,  
и дворник наш подмигивает мне.

\* \* \*

...А когда постучится беда —  
ты уходишь по древнему следу.  
— Ты куда, — говорю, — ты куда?  
— Я — домой. Я на родину еду.

Это так повелось на Руси,  
да и быть по-иному не может,  
что какая беда ни грози —  
отчий дом приютит и поможет.

...Вдоль ночных затихающих рельс  
я к своим возвращаюсь пенатам.  
Далеко ль ты, отчизна? — Да здесь —  
в получасе ходьбы, за Арбатом.

Ты всего в получасе ходьбы,  
в получасе ходьбы — в переулке.  
Я сбегал, словно в лес по грибы,  
в потайные твои закоулки.

Я твои обживал чердаки,  
проходные дворы и задворки.  
Я родные вздувал очаги —  
керосинки твои и конфорки.

...Затихал этот шум, затихал.  
И луна выплывала из тени.  
И в котельной котёл потухал,  
словно солнце в небесной системе.

И в снегах, голубевших мертво,  
вызывая головокруженье,  
мне всё снилось и снилось метро —  
марсианское сооруженье!

...До последнего мига, Москва,  
до последнего вздоха и взгляда  
не забыть мне, как кружит листва  
в колдовстве твоего листопада.

Я бульваров твоих не стыжусь  
и, навек разлучённый с лучиной,  
я Ордынкой своею горжусь,  
как крестьянин — свою Псковщиной.

Я найду этот дом за углом,  
где ржавеет витая ограда,  
где не надо тужить ни о чём  
и ни в чём сомневаться не надо.

...И, пройдя по крутым мостовым,  
с упоением блудного сына  
ты вдыхаешь отечества дым —  
этот сладостный запах бензина.

\* \* \*

*Нонне Терентьевой*

Идёт девчонка по Москве,  
идет и песню напевает.  
И, как синицу в рукаве,  
в глазах хитриночку скрывает.

Как разноцветные шары,  
над ней сияют светофоры.  
И молодые маляры  
с ней затевают разговоры.

Она следит из-под ресниц  
за их кистями в синих каплях.  
Она у белых продавщиц  
берёт мороженое в вафлях.

Она мелькает в проходных,  
в зрачках и в зелени акаций,  
как героиня тех цветных,  
забытых мной мультипликаций.

И мы, мужчины разных лет —  
народ серьёзный и бывалый,  
мы улыбаемся ей вслед,  
чуть-чуть растерянно, пожалуй...

\* \* \*

Не говори мне — «не люблю».  
Не говори — «люблю».  
Ведь я тебя не тороплю,  
не тороплю — люблю.

Оставь хоть это — и не ставь  
терпение в вину.  
Одну надежду мне оставь,  
надежду лишь одну.

Что хочешь ты воображай —  
не видь меня, не слышь.  
Но лишь надежды не лишай,  
одной надежды лишь.

И что бы ни было, молю:  
вблизи или вдали —  
не говори мне — «не люблю»,  
«люблю» — не говори.

\* \* \*

О синие, зимние  
зыбкие чары!  
Так сдвинем звенящие звёзды,  
как чарки.

В метели наощупь  
тебя не найдёшь.  
Так выпьем, не морщась!  
Чего ж ты не пьёшь?

## ОБЩЕГУМАНИСТИЧЕСКОЕ

*По мотивам лирики 60-х*

А вдруг Лауре не нужны  
сонеты страстные Петрарки?  
Его подагры и подарки  
так старомодны, так смешны!

Забыт Лаурой звон канцон,  
покуда в церкви флорентийской  
её на исповеди тискал  
каноник с мертвенным лицом.

А мы влюбляемся всерьёз!  
А наши женщины смеются!  
А наши женщины смеются,  
не замечая наших слёз.

Но Пушкин мчится к Анне Керн —  
к уездной барыньке помещной.  
Он — Пушкин! — падает, помешан,  
как школьник у её колен.

И, как слепящая гроза,  
прекрасно чудное мгновенье,  
когда, ослепнув на мгновенье,  
мы прозреваем чудеса.



Любимых сами создаём.  
Мы на песке любимых лепим.  
А после — как от взрыва, слепнем,  
но этого не сознаём.

...Лечу за парк таксомоторный,  
к Филям, с надеждою одной:  
— Побудь, побудь моей мадонной,  
хотя бы в этот выходной!

Но по заснеженному парку,  
по следу рвущемуся лыж,  
не уповая на Петrarку,  
ты к мужу с сумками спешишь.

И говоришь: — Ну что за странность...  
Ну не валяй же дурака!  
Я баба... Лучше я останусь  
по эту сторону стиха...

## ТЕЛЕФОН

Когда порой приходится мне туго  
и чёрные скребут на сердце кошки,  
когда в себя перестаю я верить,  
когда друзья не в радость —  
вот тогда  
я вспоминаю позабытый номер  
и медленно снимаю трубку.  
И гудки  
звучат чуть приглушённо и протяжно.  
Вот так гудят  
уже немолодые  
застигнутые бурей пароходы.  
Я диск кручу, как колесо штурвала.  
Мне жутковато и немного стыдно.  
Но неизменно  
чуть печальный голос  
мне тихо отвечает:  
«Здравствуй, Игорь!  
Я очень рада.  
Ты был, верно, занят —  
ты не звонил мне целую неделю».  
О, чёрт возьми!  
Я вижу этот день!  
Лет через двести или через триста,  
когда я возвращусь в свою квартиру,  
пропахший солнцем  
и машинным маслом,

пыльцой цветов  
и ветрами галактик,  
я чемодан поставлю у стола  
среди окурков и забытых писем  
и долго буду номер вспоминать.  
И наконец припомню.  
И возьму,  
как археолог, трубку, что дремала  
под мёртвым слоем пыли  
два столетия.  
Я буду ждать.  
И гулко будет кровь  
стучать в висках,  
как гонг перед финалом.  
И я дождусь.  
И неизменный голос,  
далёкий и щемящий, будто детство,  
мне скажет чуть печально:  
«Здравствуй, Игорь!  
Я очень рада.  
Ты был, верно, занят —  
ты не звонил мне целую неделю».

\* \* \*

Я чувствую себя, как иностранец,  
в старинном русском городе Торжке.  
Что знаю я, случайный постоялец,  
об этом неприметном городке?

Что знаю я о всех его тревогах,  
чей трудный смысл не каждому открыт,  
о стариках, молчащих на порогах,  
о женщинах, согбленных у корыт?

Кто там живёт, за ставнями в узорах?  
Зачем с хмельным отчаяньем в очах  
идут девчата из ворот тесовых  
в вышневолоцких платах на плечах?

...Шумит базар на площади базарной.  
И, как художник истый, нелюдим,  
маляр артельный, вовсе не бездарный,  
рисует кремль и лебедя над ним.

Я не могу, столичный гость залётный,  
судить Торжок — он видел не таких!  
Он — сам себе, как старый дом добротный  
в диковинных наличниках резных.

Когда кружат над белыми церквами  
на синем-синем чёрные стрижи,  
когда молотят тяжкими цепами  
насущенный хлеб наш из валдайской ржи,

я замолкаю, выдумщик и книжник,  
и, проклиная наше ремесло,  
я слов боюсь неискренних и лишних,  
ни холодно от коих, ни тепло.

И на рассвете, на транзитной койке,  
когда весь мир, как будто кот в мешке,  
я засыпаю сладостно и горько  
в старинном русском городе Торжке.

## ЗАВИСТЬ

Запели рельсы жалобно и звонко,  
спроваживая в сумрак поезда.  
И за вагоном бросилась вдогонку,  
как светофор, дрожащая звезда.

А паровоз насмешливо и колко  
сощурился, ощупывая лес...  
От притяженья дачного посёлка  
умчавшийся в романтику экспресс.

Зажглись миров холодные останки,  
как светофор — далёкая звезда.  
И Млечный путь по звёздным полустанкам  
седых комет разносит поезда.

И тает месяц, золотом оплавясь,  
и свежестью доносит от реки...  
И мучает прекраснейшая зависть  
ещё не увязавших рюкзаки.

1958

\* \* \*

Не слушай прогнозов погоды,  
дотронься до вербы рукой...  
Как гуси, трубят пароходы  
над Волгой, над Камой-рекой.

И голуби старых конспектов  
отчаянно падают в грязь.  
И солнце лежит на проспектах,  
в сияющих лужах дробясь.

И я, обо всем забывая,  
тот мальчик, что вырос давно,  
отчаянный мяч забиваю  
в безмолвное ваше окно.

Ах, вы не серчайте, мамаша,  
я вам за стекло заплачу!  
Я с дочкою вашей — Наташей  
без спросу в Сибирь укачу.

Как прежде, желая добраться  
до самых насыщенных основ,  
возьмём мы билеты до Братска —  
девчонка и пять пацанов.

Семнадцать нам было — и сплыло.  
И ты покупала в Перми  
кусочек «Семейного» мыла  
для нашей беспутной семьи.

Кому это всё достаётся?  
Стучит во дворах домино.  
Но снова сибирское солнце,  
как мячик, влетает в окно.

Я в детство его отфутболю,  
придумаю, что поновей.  
Но что же мне делать с любовью  
и с памятью бедной моей?





## КОНЦЕРТ НА БРАТСКОЙ ГЭС

Даёт концерт на Падуне  
филологов агитбригада.  
Программа, правда, небогата,  
но соответствует вполне!

Есть всё в программе:  
перепляс,  
стихи, читаемые мною,  
частушки,  
скетчи  
и иное  
искусство для широких масс.

А массы — ох как широки!  
Гудит плотина под прицепом.  
Прицеп наш держат под прицелом  
шофёры и крановщики.

Прицел трёх тысяч ждущих глаз,  
чуть-чуть насмешливых и жестких.  
— А ну, посмотрим на московских —  
чем удивят рабочий класс?

А чем ещё их удивишь,  
видавших всяческие виды,  
Сибири вынесших обиды  
и ей ответивших: «Шалишь!»?

Но вот худущий, будто йог,  
ведущий Топуридзе Гоги  
собой  
    восторженные «охи»  
из женской публики исторг.

Дела как будто на мази.  
Но дождь,  
    проклятый дождь некстати!  
Всё было здорово — и нате!  
Попробуй что изобрази!

— Давай, Москва! — кричит толпа.  
А баянисту ох несладко!  
Солист наш, Пожидаев Славка,  
поёт, стирая дождь со лба.

В прицеп наш косо струи бьют.  
Танцорам — впору бы в галошах.  
Девчата в платьицах промокших  
на бис венгерский выдают.

Блестит плотины парапет.  
Блестят в моих ресницах капли.  
И всем стихам моим ни капли  
на непогоду скидок нет.

— Снабженцам перцу пропиши!  
— Москва,  
        продёрни-ка прогулы! —  
И мы играем без халтуры —  
от всей студенческой души.

Мы в бой бросаем все дары  
бригадной нашей Мельпомены.  
...Крепки ладони первой смены  
и оглушительно добры.

Прицел трёх тысяч ждущих глаз,  
твою мы выдержали пробу.  
И нам огромнейшую робу —  
сушиться! —  
        дал рабочий класс.

\* \* \*

О Братск,

мне радостно и странно:  
ты открываешь, как пророк  
стрелю башенного крана,  
как семафором, сто дорог.  
Я лез

по лестнице  
железной,  
хмелел, как юнга, на ветру,  
как птица, я взмывал над бездной  
и камнем падал в Ангару.

Порожектора светили рьяно.  
И, раскаляясь добела,  
кабина башенного крана  
прозрачным спутником плыла.

Сибирь летела подо мною  
в ракетных сполохах огня,  
своей органной тишиною  
входя, как музыка, в меня.

С густыми хвойными бровями,  
едва намечена резцом,  
она была, как изваянье  
со смутным каменным лицом.

Была, как женщина, опасна,  
что нас влюбляет навсегда.  
И как якутские алмазы,  
на ней мерцали города.

Сибирь, даруй мне поднебесье,  
меня полёта удостой!  
Пускай смертельно, как Маресьев,  
я заболею высотой!  
Пусть, обретая невесомость  
над синью гор твоих и рек,  
я чувствую твою высоту  
и твой  
        космический разбег.

Сибирь — не нары и не нарты,  
не ларь с натужным серебром, —  
Сибирь —  
        напруженный на старте,  
рокочущий ракетодром.

О реактивный свист полета,  
как тройка мчащейся Руси,  
когда её саней полозья  
вдруг превращаются в шасси!

\* \* \*

Как в далёком город Дудинке  
мы с одним чухонцем молодым,  
раздавив четыре четвертинки,  
на причале грустные сидим.

Он в Россию прибыл издалёка  
и весьма Россией удивлён:  
говорит, что жить у нас неплохо,  
а у них в стране — сухой закон.

Тот закон он дьявольски ругает,  
«мир» и «дружба» пишет на плаще,  
и того чудака не понимает  
что не в водке дело, а — вообще.

## БАЛЛАДА О РОЖДАЕМОСТИ

*Норильск занимает одно из первых мест в СССР по уровню рождаемости (из газет).*

На полуострове Таймыр  
в краю невозмутимых ненцев  
крик тысяч яростных младенцев  
летит из тысячи квартир.

Норильск,  
                  меня ты поражаешь:  
как богатырски ты рожаешь!

От стужи огненны носы.  
Занесены аэродромы.  
Но все норильские роддомы  
неутомимы, как часы.

О город северных страстей —  
крутых и жарких, как экватор, —  
ты словно добрый инкубатор,  
укрывший маленьких детей!

Да здравствует  
                  ребячий писк  
за северным полярным кругом!  
Наперекор ветрам и вьюгам  
ты будь садовником, Норильск.





Я не толкаю вас на риск —  
вас,  
    молодых и незамужних, —  
я просто из районов южных  
попасть желаю вам — в Норильск.

\* \* \*

Не брани меня, мама.

Я вновь уезжаю на Север.

...Меня море

мотает,

как только что спущенный сейнер.

Меня море мотает — это, видимо, книжек полезней.

О, морская болезнь —

исцеленье от всяких болезней!

Как подбитая рыба, смеркается солнце багрово.

Оно бьётся в сетях —

я не ведал такого улова!

Не тянул якорей, из железных котлов не обедал.

Я не ведал морей —

я так многого в жизни не ведал!

Не кори меня, мама.

Мне в сердце вселяется Север.

Много хлеба я съел, но его я ни разу не сеял.

Много шуток шутил —

только это всё слабенький юмор.

Много сказок слышал —

да своей ни одной не придумал.

Не от праздных хлопков — мои руки горят от канатов.

Я, не чуя боков, засыпаю под всплески курантов.

Словно синие черти шалят в небесах автогеном —

я полярным сияньем просвечен, как будто рентгеном.

Ты прости меня, мама, что я не пишу месяцами.

Это — белые ночи, что с белыми схожи стихами.

Ледниковый период, заря человеческой общины.

Это правильный климат.

В нём женщины — тоже мужчины.

Надо всё самому.

Надо жить, обо всем беспокоясь.

Надо напрочь забыть, что открыт кем-то Северный полюс.

И открыть его снова — и это, ей-богу, немало!

...Я уехал на Север.

И ты не брани меня, мама.

\* \* \*

Проходит женщина по пляжу.  
В порезах голые ступни.  
В её глазах, как черти, пляшут  
зелёных бакенов огни.

Она в рыбацком капюшоне.  
На бедрах юбочка, как взрыв.  
Глазеют местные пижоны,  
рты в изумлении раскрыв.

Идёт сквозь зависть и жаленье,  
плечами зябко шевеля.  
На шее, будто ожерелье,  
пылает рыба чешуя.

И вдруг потупится неловко,  
как будто девочка, строга.  
...Я жду её в зыбучей лодке  
с зелёным именем «Тайга».

Я жду за островом Желанным.  
На вёсла скользкие сажусь.  
И не гожусь я капитаном —  
скорее юнгою гожусь.

Гребу отчаянно и жарко,  
и на взлетающей корме  
она мне кажется русалкой,  
что волны выплеснули мне.

А я робею непонятно  
и всё боюсь я, что вот-вот  
Байкал рассерженный обратно  
её, как в сказке, заберёт.

## ПРИНЦЫ

Девчонки,  
        думайте о принцах,  
о неоткрытых полюсах.  
Пускай она вам сладко снится,  
шаланда в алых парусах.

Пускай вас  
        укоряют  
                мамы  
в кругу удачливых подруг:  
«Смотри, вон Нинка вышла замуж,  
а муж-то — кандидат наук!»

Но мы — мы тоже кандидаты,  
мы кандидаты в короли!  
Как у стартующих Дедалов,  
у нас оббиты кулаки!

А где,  
        а где наши невесты?  
Плывёт, как парусник, перрон.  
Мы слепнем от шального блеска  
ещё не добытых корон.

Грустя о девушках неверных,  
мы Вегу варим в котелке.  
И что-то сонно шепчут ветки  
в пропахшей звёздами тайге.

Так ждите,  
        ждите нас, принцессы!  
Не отдавайте душ за скарб!  
Мы вам пришлём, как ирокезы,  
в бою добытый вражий скальп!

Нам надо верить, очень верить  
в любовь девчат Большой земли.  
И знать, что где-то синий берег  
плывёт на наши корабли.

Вернёмся, как морские волки,  
не в интуристовских значках.  
И только будут шлëndать волны  
у нас в задумчивых зрачках.

А вы к нам выйдете на пристань  
И нам заглянете в глаза.  
И крепко вас обнимут принцы.  
...И вновь поднимут паруса.

1960



\* \* \*

На небе звёзды, как петарды,  
как маяки ребячьих снов.  
...И снятся мальчикам пираты  
с непотопляемых судов.

Бочонки с пальмовою водкой,  
бочонки с ромом и сурьмой.  
И кок, просоленный, как вобла,  
Качает медною серьгой.

Вперёд по волнам оробелым!  
Мы вспорем весело и зло  
всем королевским каравеллам  
их проперчённое нутро!

Не плачьте, девушки, в гаремах —  
мы вас спасём из кабалы.  
Мы с наших братьев на галерах,  
как братья, сбросим кандалы!

И ради наших ждущих женщин  
у чьих-то дальних берегов  
мы раздадим индийский жемчуг  
суровым вдовам рыбаков.

...А утром повзрослеют дети.  
Но вижу я сквозь все года,  
как ждут их в призрачном рассвете  
у мола синие суда.

Я знаю — им нельзя не плавать.  
И это тоже входит в стаж —  
любую хитрую неправду  
отважно брать на бордаж.

О детство, нам пора расстаться,  
ты таешь в дымке голубой.  
Не чёрный — добрый флаг пиратства  
летит над нашей головой.

\* \* \*

На озёра синие,  
утопая в омуте,  
с неба звёзды сирые  
падают, как жёлуди.  
Падают за тынами  
в чёрные колдобины.  
Там дороги стылые  
будто заколдованы.  
Там чащобы щерятся  
и луна ущербится.

...Мне леса мещерские  
по ночам мерещатся.  
Спят туманы лежнями,  
белые, как проседи.  
Я играю с лешими  
на замшелой просеке.  
Я играю с лешими,  
говорю им: — Здрасьте!  
Уходите к лешему,  
все мои напасти!  
Уходите к лешему  
и — не возвращайтесь,  
конному иль пешему  
мне не повстречайтесь...



Кому в ненастных этих числах  
от имени бы всей земли  
мы в наших чистых и нечистых  
без страха верить бы смогли...

## ВОСПОМИНАНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОДОРОГИ

И чтоб, как все, обрёл права я  
копать проклятый этот дёрн,  
Кузьмич — натура деловая —  
был мною в дружбе убеждён.

И мы пошли неторопливо  
к бочонку честному тому,  
где я, как равный, кружку пива  
с полочки выставил ему.

И друг Кузьмич, добра опора,  
сказал мне, пиво пригубя:  
— Чеси в бригаду. А контора  
попишет, брат, и без тебя!

...Дела идут, контора пишет,  
и это вовсе не беда,  
что шутки древние я слышу  
про обезьян и роль труда.

На перекуре, с непривычки  
ослабнув, будто натошак,  
пудовой двигаю я спичкой  
и не могу зажечь никак.

И меркнут, словно на экране,  
воспоминанья о былом.  
И всё существованье грани  
меж мной и умственным трудом.

...Недолгой жизнью умудрённый,  
долбивший глину по утрам,  
я не скажу, что пот солёный —  
лекарство от душевных травм.

Но в общем, так уж выходило,  
что боль, владеющая мной,  
не то чтоб вовсе проходила,  
а просто делалась иной.







\* \* \*

И снова я в посёлке Катуар,  
который ныне переименован  
и «Городком Лесным» наименован —  
все в лес хотят, все ищут идеал!

Ну что ж, и я...

Пришла моя пора —  
ходить мне в лес или волков бояться.  
Задача нехитра и, разобраться,  
хотя и жгуча, но — как мир стара.

Пора тетрадку чистую начать.  
И за различьем птичьих переплесков,  
за нищенским обличем перелесков  
дыханье снега жарко различать.

Ещё шумят, спасаясь от погонь,  
последние пристанища природы.  
Но — всё напрасно: сумрачные своды  
беззвучно лижет медленный огонь!

И, как Москва в двенадцатом году,  
не дав врагу желанного сраженья,  
леса вершат обряд самосожженья  
у холодов идущих на виду.

Видать, природа против полумер!  
И, избегая тягостного тленья,  
она являет истинный пример  
высокого и чистого горенья.

Мрачнеют сосны, — жертвенный костёр  
уже бушует в близости опасной!  
И, как орган, заполнивший костёл,  
гудит в них ветер, безумный и ненастный.

Прости-прощай! Усмешку затая,  
благодари судьбу за утешенье,  
что это вовсе не уничтоженье,  
а форма продолженья бытия.

И листьев отрезвляющий пожар  
меня на мысль подобную наводит.  
И это, повторяю, происходит  
в посёлке подмосковном — Катуар.

## ТАРУССКИЙ ТРИПТИХ

### I

Отвергая обузу  
неисполненных планов и дел,  
я — скорее в Тарусу —  
в свой забытый приокский удел.

Сын по духу и сути  
не верящей в слёзы Москвы,  
на арбатском распутье  
за собой я сжигаю мосты.

И на утлую пристань  
сгружает буксир «Байдуков»  
суматошных туристов  
и степенных таких рыбаков.

Ну так здравствуй, Таруса, —  
незримая совесть и суд!  
Все красоты Союза  
теперь уж меня не спасут.

Среди этих протяжных  
закатов, горящих вдали,  
так мелки и неважны  
все личные беды мои.

Среди этого неба,  
у этой просторной воды  
так смешны и нелепы  
поспешные наши следы.

Облака величаво  
плывут от зари до зари.  
У ночного причала  
ты тихо постой, покури.

Раскрывается млечность  
над бедной твоей головой.  
И беседует вечность  
как будто бы с равным — с тобой.

## II

Через сумрак белёсый,  
обгоняя рассвет,  
на пустынные плёсы  
выходил я чуть свет.

И, ложась на поляны,  
из кустов ивняка  
голубые туманы  
наползали слегка.

И, как снятые с дыбы,  
с рыбьей долей своей  
бились сонные рыбы  
в котелках рыбарей.

И далече-далече,  
словно славы хотел,  
над зелёным заречьем  
свиристель свиристел.

...У забытого брода,  
как ромашка в бадье,  
отражалась природа  
в неподвижной воде.

Она так отражалась —  
до последних стеблей, —  
что сама поражалась  
юной стати своей!

И кричал перевозчик  
над рекою Окой,  
словно он — переводчик  
меж природой и мной.

И как в школе начальной  
научиться читать,  
так язык её тайный  
я хотел понимать:

крик совы среди веток,  
немоту муравья,  
речь коров и наседок —  
и любого зверья.

Высвист сиверко в поле,  
и — средь всех голосов —  
неизменный до боли  
вечный рокот лесов.

...Коренной горожанин,  
в век железных машин  
я тоскою ужален  
по деревьям большим.

Всё видавшего вроде,  
вдруг потянет в пути  
человека — к природе,  
как младенца — к груди.

Синеглазый и русский,  
словно в давнем долгу,  
он стоит под Тарусой  
на крутом берегу.

И такую же, видно,  
ощущая вину,  
я его не окликну,  
невзначай не спугну.

Непричастный ко благу,  
искупаюсь в реке  
и у лодки прилягу  
на холодном песке.

«Эй, откуда ты родом,  
и идёшь далеко ль?» —  
вопрошает над бродом  
у меня осокорь.

### III

От лихого искуса  
хороня медовуху в клетях,  
ты стояла, Таруса,  
на торговых и ратных путях.

У лесного жилища,  
не оброчник ничей, не вассал,  
вятич, сжав ножевище,  
своих идолов страшных тесал.

И немало днепровцев  
и жителей прочих земель —  
от хазар до литовцев —  
домой не вернулось отсель.



И, не праздную труса,  
мужая в неравных боях,  
ты стояла, Таруса,  
на славянских и тюркских костях.

С колокольной кургузой,  
с варяжским мечом на боку  
ты отважно, Таруса,  
собой прикрывала Москву.

...Не в кружалах ярыжки  
толкуют про ханский набег,  
а дозорные вышки  
пылают у тульских засек.

И в усадьбах боярских  
у дымных привальных огней  
звуки песен дикарских  
и ржанье татарских коней.

И гудящий над крышей  
набата внезапный налёт.  
И орды Тохтамыша  
размеренный тяжкий намет.

...И с бедой неминучей,  
под долгую песнь ямщика,  
как тяжёлые тучи,  
прошли над тобою века.

И на склонах угрюмых,  
над говором окской струи  
две художницы юные  
воздвигали мольберты свои.

...Рыжеватая глина.  
А дальше — песчаное дно.  
Что ты плачешь, Марина?  
Об этом нам знать не дано.

\* \* \*

Меня пугают подражательством:  
«Твоя манера — не твоя!».  
Доброжелатели дражайшие,  
кому же  
        подражаю я?

Я подражаю песне в полночи  
и перестуку поездов.  
Гудкам летящей «Скорой помощи»  
в огнях оглохших городов.

Я подражаю травам ягодным  
и зыби в медленных прудах.  
Я подражаю  
        взрываю ядерным  
в неподражаемых мирах.

Я подражаю своей бабушке,  
бельё стирающей в тазу.  
Я подражаю  
        кранам башенным,  
несущим небо на весу.

О продувные плагиаторы!  
Вам подражаний — не рожать.  
А я, весь мир беря в соавторы,  
бесстыдно буду подражать!

Вхожу в эфир,  
                                          где свист и шорохи,  
шалых разрядов трескотня,  
где шлёт мне позывные все ж таки  
радиостанция моя.

И ничего не отражается —  
самим всё надо отражать!  
И до чего же подражается —  
и как непросто — подражать!

## КОНДУКТОРША

Заснежено,  
завьюжено —  
белым-бело...  
Намело сугробы —  
ну и намело!

На тротуаре узеньком —  
скрип-скрип снег.  
Иду я по улице —  
снежный человек.

Не рассмотришь номера.  
Ну да ладно!  
Сел  
я в автобус новенький —  
тридцать семь.

Ну и кондукторша!  
Бывают же лица!  
Ей-богу,  
с ходу  
можно влюбиться!

Брови — птицы пуганые.  
Глаза — ледышки талые.  
Губы припухлые —  
алые-алые.

Мне теплей как будто бы.  
Вот автобус тронулся.  
И берёт  
        кондукторша  
книгу толстую.

Летит снежок — не тает.  
За окнами — туман.  
Кондукторша читает  
волнительный роман!

Там лазят  
        по карнизу,  
камзолы разодрав.  
Прелестную маркизу  
там похищает граф.

Какие там манеры!  
Аристократы — ах!  
Какие кавалеры  
со шпагами в руках!

Она уже в карете.  
Шелка, ковры...  
— Девушка, билетик,  
будьте добры!

Зашумела очередь —  
попробуй отвяжись!  
Вот она и кончилась,  
красивая жизнь.

Дешёвенькие серьги.  
В ладошках — пятаки.  
А у меня на сердце  
вот эти стихи.

Говорю, не вытерпев:  
— Не надо тужить!  
Вы ещё увидите  
красивую жизнь.

В ней любви и тонкости —  
будь здоров!  
В ней бегут автобусы  
без кондукторов.

Возьмите, как леди,  
все её дары.  
А пока — билетик,  
будьте добры!

\* \* \*

И Женька Задериушкó  
с такой фамилией несценичной  
сидит, вздыхая глубоко,  
над драмой скучной и безличной.

Там, на блистательном балу  
графиня с розой за корсажем  
жрёт ложкой чёрную икру  
напару с лысым персонажем\*.

...Она не ела той икры,  
хотя сама графинь играла,  
и в общежитии полы,  
чтоб подработать, подметала.

И спозаранок, налегке,  
ведро поставив на пороге,  
она со щёткою в руке  
произносила монологи.

Как сладко, выйдя из реприз,  
забыв о небогатом быте,  
небрежно бросить: «Нет, маркиз!» —  
зажиточному волоките.

---

\* Строчка, подаренная автору П. Г. Антокольским.



О рампы огненный барьер  
и секундант в суфлёрской будке!  
Но дрогнет сдержанный партер,  
Когда сыграют институтки!

...И режиссёр не судит их,  
когда, укрывшись за кулисы,  
как работяги, «на троих»  
устало скинутся актрисы.

\* \* \*

А вечером мне крупно повезло:  
тобою проведённый без билета,  
я вновь гляжу на ваше ремесло —  
на таинство высокого балета.

Но, стиснутый среди прожекторов,  
как кесарь из правительственной ложи,  
тебе я улыбнусь поверх голов,  
и ты украдкой улыбнёшься тоже.

Гремит оркестр. И кажется мне вдруг,  
что, не прощая трусость и измену,  
ты всходишь на вращающийся круг,  
как римский гладиатор на арену.

...Есть что-то в вашем деле от коррид,  
от древних игрищ есть в балете что-то,  
что неизменно душу леденит  
предчувствием печального исхода.

Ты победила! — думает толпа.  
Но, перекрыв восторженные «бисы»,  
ты выдаёшь им два смертельных па —  
и умирать уходишь за кулисы.

\* \* \*

Что мы наделали с тобой!  
В плену ребячьего недуга,  
в борьбе нелепой и слепой  
так глупо проиграть друг друга.

Так жадно жизнь поторопить  
и зло обжечься — и отныне  
всё так безжалостно сгубить  
в безумной дедовской гордыне.

Казалось — в сей разумный век  
лишь протянуть друг другу руки —  
исчезнут, как случайный снег,  
все эти драмы и разлуки.

Нотинет гуаего\* — днём с огнём!  
И даже в безднах мирозданья  
звучит всё громче с каждым днём  
язык взаимопониманья.

А тут: родные существа —  
мужчина с женщиною — вкупе  
не в силах подыскать слова,  
толча их, словно воду в ступе.

---

\* Ищу человека! (*лат.*)

Различны наши языки!  
Но всё-таки во все эпохи  
мы не бывали так близки  
и в то же время — так далёки.

Игра не стоила бы свеч.  
Но женщины проходят мимо —  
и их таинственная речь,  
как прежде — неперево­дима.

## ДЕД МОРОЗ

*Алексею Зауриху*

А Дед Мороз — совсем не дед,  
засахаренный, словно пряник.  
Тот дед, ей-богу, молодец:  
он лыжник,  
он перворазрядник!

Под ним леса и города  
и Млечный путь лыжнёй рассветной.  
За ним струится борода,  
как след светящийся ракетный.

В коротких замыканиях гроз  
земля из мрака вырастает.  
О добрый лыжник — Дед Мороз,  
не дай бесследно ей растаять!

Она одна у нас — Земля,  
с её утратами,  
утрами.  
Ей, как Снегурочке, нельзя  
скакать над разными кострами.

О добрый лыжник,  
прекрати  
на ней раздор и кривотолки,  
и все ракеты преврати  
на полигонах этих — в ёлки.

Пускай различные флажки,  
как ёлку, землю оплетают.  
Пускай мальчишечьи снежки  
над ней, как спутники, летают.

Пусть ради детства человек  
утратит  
детскую наивность.  
Пусть с неба падающий снег  
утратит радиоактивность!

О смелый лыжник,  
на лыжне  
так много ждёт тебя обрывов!  
Ты, как разведчик на войне,  
идёшь меж вражеских разрывов!

Тебя обстреливает ложь  
и на лыжне твоей клубится.  
Но ведь недаром ты похож  
на бородатого кубинца!

И, снег стряхнувши с бороды,  
смирив бураны и позёмки,  
планете радость даришь ты,  
как куклу — плачущей девчонке.

## ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОД

*Павлу Антокольскому*

Парни нецелованные гибнут  
с удивлённой детскостью в глазах.  
И играют  
    яростные гимны  
оркестранты в рваных сапогах.

...Нас на дыбе губили.  
Нас бросали в острог.  
...Бьют копыта кобыльи  
в перехлёсты дорог.

На бахчах в Богучарах  
сымут с нас сапоги.  
Эх, станковый с тачанки,  
сыпани,  
    сыпани!

Так по коням,  
    по коням!  
Вьются шляхи ужьём.  
Эскадроны — по коням!  
Батальоны — в ружьё!

Ох, июльское лихо,  
пулевая гульба!  
Занялась Завалиха.  
И в огне Бугульма.

Как полночное диво,  
пляшет месяц в дыму.  
...Убивают комдива —  
девятнадцать ему.

Девятнадцать неполных,  
как неконченный бой.  
О Россия, запомни  
эту раннюю боль!

О Россия,  
Россия  
в переплясе зарниц!  
Полыхают разрывы  
от границ до границ.

Так по коням, по коням,  
коли злость горяча!  
По поганым поганам  
мы рубаем сплеча.



...А комдиву в двадцатом  
Перекоп уж не брать.  
О как трудно ребятам  
до зари умирать!

И горят над комдивом  
звёзды в красный накал.  
И гремит над комдивом,  
как салют, аммонал.

Так по коням, по коням!  
Мы идем под огнём,  
мы их в море загоним,  
мы их в землю вобьём!

Наша песнь недопета.  
Нас никто не предаст.  
И как бурки, рассветы  
за плечами у нас.

1961





И человек,  
        среди бела дня  
сбив раскалённую задвижку,  
огонь выносит из огня,  
как обожжённого мальчишку.

Он улыбается сквозь дым.  
Ему так горестно.  
        Так зябко.  
Но вся вселенная над ним  
пылает, как на воре шапка!

## НАДПИСИ МЕТРО\*

Таят значенье надписи метро.  
Мы их воспринимаем без протеста.  
Они ж глядят надменно и хитро,  
исполнены глубокого подтекста.  
— Идите прямо! — надпись на стене.  
— Смелее! О сомнениях забудьте!  
Но медлю я.

И нечто есть во мне  
от витязей, стоящих на распустье.

Но заключив, что это бабий вздор  
и злобно инспирированный выпад,  
летит стрела, решая давний спор,  
и под стрелой ликующее:

«Выход!!!»

Вот надпись равнодушная висит.

---

\* Это никогда не публиковавшееся стихотворение было прочитано 20 января 1963 года на вечере в Зале Чайковского — как бы в ответ на прочитанное тогда же стихотворение В. Фирсова «Нас называют “правыми”». Да-да! Мы правые от слова “правота”». Эта довольно дурацкая полемика вызвала некоторый общественный резонанс — ввиду актуальности в то время понятий «левое» (т. е. «прогрессивно-оппозиционное») и «правое» (т. е. «официально-консервативное»).

Вглядитесь зорче.

В душу её влазьте.

Она клокочет, словно одессит,

её трясут неслыханные страсти.

— Придерживайтесь правой стороны! —

Такие фразы выглядят нелепо!

Такие мысли попросту смешны,

Когда всё в мире движется налево!

## СКОМОРОХИ

*Отрывок*

Да здравствует святое лицедейство  
юродивых и хитрых простаков!  
Не прекословь!

Пятнадцать лет не брейся!  
Так легче облапошить дураков.

Покуда плахой держится держава —  
таи язык свой, будто в ножнах нож.  
И вдруг —

как взмах разящего кинжала —  
ты Годунова Иродом зовёшь.  
И ничего не сделаешь, хоть лопни!  
С блаженненького — много ли возьмёшь?  
...Но вот уже народ на месте лобном  
за полы тащит дьяков и вельмож.

Незыблемое делается шатким —  
и воевод сметают мятежи.  
...И мужики в засаленную шапку  
тебе бросают медные гроши.

## ГАМЛЕТ

В раздумье Гамлет.

Быть или не быть?

А может, бросить эту заваруху?

Махнуть в деревню.

Чай с малиной пить.

Плодить детей.

Любить свою старуху.

Он слишком слаб. Он в схватке изнемог.

Пусть без него продлится это действие!

Пусть там их судят дьявол или Бог.

Оставь свой меч.

Не искушай злодейства.

Но — занавес! Твой выход, человек!

Бог что-то медлит. Дьявол что-то мямлит.

Последний акт.

Идёт двадцатый век —

быть или не быть, решай скорее, Гамлет!

Будь мужественным, Гамлет, до конца:

ждут матери — в Америке, в России.

И ждёт ответа, словно тень отца,

тень мальчика на камне в Хиросиме.



## СОДЕРЖАНИЕ

От автора .....	5
ПОЗДНИЕ СТИХИ	
«В мае, июне, июле...» .....	9
«На изломе жизни, на излёте» .....	10
Зимняя вишня .....	12
«Я перевалил рубеж, приличествующий уходу поэтов...» .....	13
«Ну что — опять корейская война?...» .....	15
Памяти Е. Е. ....	17
Памяти Георгия Гачева .....	18
«Я хоронил товарищей моих...» .....	21
«С годами всё похожей на отца...» .....	22
«Тётя Соня не любила немецкую речь...» .....	23
«Уготован ад нам, рай ли...» .....	25
«Коль режим полового покоя...» .....	27
«Пол-лета, пол-лета, пол-лета прошло...» .....	29
«Собаки любят бескорыстно...» .....	31
«Что нам до улыбки Моны Лизы...» .....	33
«Блещут шпаги, сыплются реалы...» .....	34
«Ну что ж, и я умру когда-то...» .....	35
«Выйдя к залу многоглазому...» .....	36
Этюд .....	38
Астапово .....	41
«В памяти твёрдой и ясном уме...» .....	42
«Я стихи пишу традиционно...» .....	44
«Бабушка с дедушкой, мать и отец...» .....	45
«Рождённый в любезной отчизне...» .....	46
«Время, висящее на волоске...» .....	48

«Твои инициалы схожи со словом ОК...»	49
«Три женщины, которых я любил...»	50
«Времени всё истончается нить...»	52
«Не хочу я больше быть учёным...»	54
«Что там гремело за станцией Лось...»	56
«Восходит красная луна...»	57
«Я родился в городе Перми...»	58
«Отец уже три года не вставал...»	60
«Я — мыслящий тростник...»	61
«Хотел родить стихотворенье...»	64
Извинение перед насекомым	65
«Жил на свете рыцарь бедный...»	67
«Этот мальчик желает пробиться...»	71
Еврейская мелодия	72
«Что-то физики в загоне...»	75
Футбольное (ЕВРО 2012)	77
Турецкое	78
«Но взгляните на лица детей!..»	80
«Подымался ни свет ни заря...»	81
«Давай-ка с тобой потолкуем...»	82
«Эта двенадцатилетняя связь...»	83
«Вероломная, нежная, злая...»	85
«Мне дочери нынче явились во сне...»	86
«Вот над ветлой у пруда...»	88
«Как обычно, с шести до семи...»	90
«Будут снова мне сниться...»	92
«Этот сумрачный денёк...»	94
«Какое небо над нами...»	95
«Не разжигается уголь древесный...»	97
«К ночи, когда понесут трепачи...»	98
«И я молодым да ранним...»	100

Памяти Юрия Карякина .....	102
«Отжевав банальностей мякину...» .....	104
«Явится строчка — и сладится всё остальное...» .....	105
«Эти поздние стихи...» .....	106
«А дни впереди всё короче...» .....	107
«Люби меня таким, каков...» .....	108

## РАЗНЫЕ ГОДЫ

«На станции выйду случайной...» .....	111
«Ударил дождь по тёмному стеклу...» .....	112
Прекрасное место Джетогуз .....	114
«Без удержу с друзьями пировал...» .....	116
«Если в восемь не буду вставать...» .....	117
«Никто не провожает проводниц...» .....	118
«Одно окончилось во мне...» .....	119
«Жить одному в запущенной квартире...» .....	121
«Мне, городскому жителю, чудно...» .....	122
«За околицей, возле оврага...» .....	123
«Сгребают сено косари...» .....	124
«Как зверь породы странной и чудной...» .....	125
«Кричат мальчишки: “Дядя, прокати!”...» .....	127
«Ты гнал, губитель мой прелестный...» .....	129
«Сбила “Волга” велосипедиста...» .....	131
«Наконец-то придумали, как извести нервотрёпку...» .....	132
«Названия московских мест...» .....	133
«За всё заплачено сторицей...» .....	134
«Сойди у Покровских ворот...» .....	135
«...И овцы, что пасутся на лугах...» .....	136
«Все думали, что с Гитлером война...» .....	137
«Октябрь сорок первого года...» .....	138
«За пять минут до битвы Курской...» .....	140

«О чём парашютист подумал...»	141
«Воспряну ото сна...»	142
«Пальтецо поскорей натяну...»	143
Зима 1953 года	145
«Ленинградская девочка Лена...»	146
«Стояла великая сушь...»	148
«Тень самолёта в озёрной воде...»	149
«Мой старший брат, по званию капитан...»	150
Чижик-пыжик	151
«Железноводска ржавая вода...»	155
«Ничего, ничего, потерпи...»	156
«Последние листья хмельные...»	157
«Но пробужденье добрых чувств...»	159
«Мои друзья, вы правы тыщу раз...»	160
«Я не поддался этой свистопляске...»	161
«Засохла в огороде бузина...»	162
«Скорей, скорей, пока горит душа...»	163
«Июнь. Подошли сенокосы...»	164
«Приметы средней полосы...»	165
«Ты говоришь, что книжная культура...»	166
«Эти запахи талых снегов...»	167
«От мыслей невольных...»	168
«Я в сумерках ранних спешил...»	169
«Наставник нашей юности, кумир...»	171
«Высокомерие храня...»	172
«Солдаты потешных полков...»	173
«Тома старинные “ин кварто”...»	174
Над старой олеографией	175
Чаадаев	176
«В старинном доме на Волхонке...»	178
Аполлон Григорьев	180

«Благие порывы души...» .....	182
«Минувших дней трагический клубок...» .....	183
Песенка про Орфея .....	184
«Плоть пировала, гордый дух нищал...» .....	185
«Скажи: “Всё это вздор!” ...» .....	186
«Во дворах проходных и в парадных...» .....	189
Банальная баллада .....	191
Сон .....	202
Городской романс .....	203
Сентиментальный романс .....	204
«О чём шумели мы по вечерам...» .....	205
«Не предавай, пожалуйста, меня...» .....	206
«Познакомились зимой...» .....	207
«Этот затяжной роман...» .....	208
Жестокий романс .....	209
«Я не искал случайных встреч с тобой...» .....	210
«Я не буду тебя укорять...» .....	211
«Ибрагимов, мы не виноваты...» .....	212
Стихи о бракоразводном процессе .....	213
«Не грусти, что липы облетели...» .....	215
«Отплакала, отпела, отлюбила...» .....	216
«Не тень увядшей красоты...» .....	217
«Всё пройдёт. И останутся только...» .....	218
«Когда б я не любил тебя...» .....	219
«Доживём ли до нового года...» .....	220
«Как тихо в январском лесу...» .....	221
«У, неласковая дева...» .....	222
«— Всё это так, — ты говоришь...» .....	224
«Сентябрь — и пора увяданья...» .....	225
«Шестнадцатое сентября...» .....	227
«Дом стоит на берегу...» .....	228

«Любовь наша так проходила...»	229
«Вроде всё в этом парке на прежних местах...»	230
«Как поживаешь, плясунья...»	231
«Явив такую милость...»	232

#### ИЗ РАННИХ ТЕТРАДЕЙ

«Эпоха просит простоты...»	235
Горит Ян Гус	236
Кануны	237
Зима 1946-го	239
Баллада о солдатке	241
«Меня убили двадцать лет назад...»	243
Петухи	245
«А где вы были, новгородцы...»	246
«О дворик на проспекте Маркса...»	249
«Пишу я курсовую по истории...»	252
«Хрипучий март болеет гриппом...»	254
Ночные города	257
«...А когда постучится беда...»	259
«Идёт девчонка по Москве...»	261
«Не говори мне — “не люблю”...»	262
«О синие, зимние...»	263
Общегуманистическое	264
Телефон	266
«Я чувствую себя как иностранец...»	268
Зависть	270
«Не слушай прогнозов погоды...»	271
«Ах, дождь грибной, летящий дождь грибной...»	273
Концерт на Братской ГЭС	275
«О Братск, мне радостно и странно...»	277
«Как в далёком городе Дудинке...»	279

Баллада о рождаемости .....	280
«Не брани меня, мама. Я вновь уезжаю на Север...» .....	283
«Проходит женщина по пляжу...» .....	285
Принцы .....	287
«На небе звёзды, как петарды...» .....	289
«На озёра синие...» .....	291
Воспоминание о потопе .....	292
Воспоминание о строительстве Московской кольцевой автодороги .....	294
Болдино .....	296
«И снова я в посёлке Катуй...» .....	298
Тарусский триптих	
I. «Отвергая обузу...» .....	300
II. «Через сумрак белёсый...» .....	301
III. «От лихого искусства...» .....	304
«Меня пугают подражателем...» .....	307
Кондукторша .....	309
«И Женька Задериушко...» .....	312
«А вечером мне крупно повезло...» .....	314
«Что мы наделали с тобой...» .....	315
Дед Мороз .....	317
Девятнадцатый год .....	319
Прометей .....	322
Надписи метро .....	325
Скоморохи ( <i>Отрывок</i> ) .....	327
Гамлет .....	328

Литературно-художественное издание  
Серия «Поэтическая библиотека»

Игорь Леонидович Волгин  
**ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ**

*Редактор*

Татьяна Тимакова

*Художественный редактор*

Валерий Калныньш

Подписано в печать 04.09.2018

Формат 70x108/32. Бумага офсетная.

Гарнитура CharterC. Печать офсетная.

Тираж 1000 экз. Усл. печ. л. 13

Заказ №

«Время»

117105, Москва, Варшавское шоссе, 3

Телефон (495) 954 10 82

<http://books.vremya.ru>

e-mail: [letter@books.vremya.ru](mailto:letter@books.vremya.ru)

Отпечатано в ОАО «ИПП “Уральский рабочий”»

620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: [book@uralprint.ru](mailto:book@uralprint.ru)